

Валерий Есенков

Казнь. Генрих VIII



Валерий Есенков
Казнь. Генрих VIII

«Автор»

2005

Есенков В. Н.

Казнь. Генрих VIII / В. Н. Есенков — «Автор», 2005

ISBN 5-17-029189-2

«Солнце сияло, бросая в окна золотые лучи, плескаясь веселыми лужами на каменных плитах черного пола. В ближних церквях нестройно ударили первые колокола, разрывая утренний воздух жестким металлическим звоном. На широкой толстой груди короля лежала рыжая голова, и, тесно прижавшись, юная женщина согревала сладко спящее тело. Генрих медленно просыпался, щурил от яркого света глаза, шевелил ленивыми пальцами тяжелые волосы Анны, точно проверить хотел, здесь ли, с ним ли она, и вновь засыпал тревожным коротким сном. В его снах бродили суровые тени. Знамена, трубы, мечи. Они едва выступали из тьмы. Трубы трубили. Он звуков не слушал. Черные полотнища трепетали от сильного ветра. Сверкали мечи. Вдруг среди них из мрака встало лицо. Оно было тревожно и бледно. Он узнал в нем отца. Он вздрогнул всем телом. Глаза распахнулись. Он несколько раз протяжно вздохнул, точно только что плакал во сне...»

ISBN 5-17-029189-2

© Есенков В. Н., 2005

© Автор, 2005

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	23
Глава четвертая	31
Глава пятая	40
Глава шестая	50
Глава седьмая	64
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Валерий Есенков

Казнь

Глава первая

Приказ короля

Солнце сияло, бросая в окна золотые лучи, плескаясь веселыми лужами на каменных плитах черного пола.

В ближних церквях нестройно ударили первые колокола, разрывая утренний воздух жестким металлическим звоном.

На широкой толстой груди короля лежала рыжая голова, и, тесно прижавшись, юная женщина согревала сладко спящее тело.

Генрих медленно просыпался, щурил от яркого света глаза, шевелил ленивыми пальцами тяжелые волосы Анны, точно проверить хотел, здесь ли, с ним ли она, и вновь засыпал тревожным коротким сном.

В его снах бродили суровые тени. Знамена, трубы, мечи. Они едва выступали из тьмы. Трубы трубили. Он звуков не слушал. Черные полотнища трепетали от сильного ветра. Сверкали мечи. Вдруг среди них из мрака встало лицо. Оно было тревожно и бледно. Он узнал в нем отца.

Он вздрогнул всем телом. Глаза распахнулись. Он несколько раз протяжно вздохнул, точно только что плакал во сне.

Он помнил отца с малых лет. Часто, когда они оставались одни, отец брал его к себе на колени, обнимал его плечи, склонялся над ним и говорил негромко, но резко:

– Я король. Ты мой сын. Даст Господь, ты тоже будешь король. Когда я умру. Тебе надо знать, чтобы не наделать беды, что в государстве все смуты возникают за должности и посты. Те, кто их имеет, жаждет любыми средствами их сохранить. Те, кто их не имеет, жаждет любыми средствами захватить и должности и посты. По этой причине всякий пост, всякая должность опасны. Их покупают за деньги. За обладание ими льют кровь. Должность короля выше всех. Моря крови пролиты за неё, и ещё прольются моря.

В его лице была печаль. Его голос дрожал. Он тихо гладил головку ребенка, и голос его шелестел:

– Это было давно. Эдуард Плантагенет был девятым потомком Вильгельма Завоевателя, нашего общего предка, сын короля Эдуарда и инфанты Элеоноры Кастильской. Он по праву стал королем. У него было пятеро сыновей. Великое счастье для любого отца. Великое несчастье для короля и его королевства. Пять претендентов. Пять соперников. Причина для кровавой резни не одного поколения. Так и случилось. Никто из них не добился короны. Старший сын, Черный принц, прославился своими победами и пал на поле чести во Франции. Эдмунд Йорк был, как говорили, убит. К пятому, Томасу Глостеру, подослали наемных убийц. И кто подослал? Его же племянник.

С каждым словом лицо отца становилось печальней, и Генрих начинал плакать, когда несмело взглядывал на него:

– После Эдуарда королем стал Ричард Второй, его старший внук, тогда ещё совсем мальчик. За него долго правил дядя его, Джон Гент Ланкастер. Верно, сам хотел занять его место, да не успел, умер, ненамного раньше, чем он. Ричард его пережил. Он был низложен и вскоре убит наемным кинжалом, который был к нему подослан кузеном. Королем стал второй внук, Генрих Четвертый, Ланкастер, тот самый кузен. Йорки, дети и внуки убитого Эдмунда, находили это

несправедливым. Блеск короны их ослеплял. В сравнении с этим блеском благо королевства для них было ничто. Между Ланкастерами и Йорками развязалась война. Иногда прерываясь, она шла тридцать лет, потому что тех и других поддерживали бароны. Эти шакалы, которые хотели иметь как можно больше земель и занимать первые места при дворе. Они теряли рассудок, лишь бы иметь. Не ведали ни жалости, ни страха, ни любви. Многие замки были разрушены. Сожжены деревни и фермы. Много знатных людей полегло, самый цвет английских вельмож. Два королевских рода оскудели в этой вражде и сошли до ничтожества. Не менее сорока Ланкастеров и столько же Йорков сложили головы на поле сражения, были отравлены, зарезаны наемным кинжалом или сгнили в глухом заточении. Короли, принцы, наследники трона.

Генрих страшился взглянуть на отца и только слышал, как голос его становился презрительным и суровым:

– Моя прапрабабушка Кэтрин Суинфорд считалась незаконной женой Джона Гента Ланкастера, хотя есть основания полагать, что брак между ними был освящен, но по каким-то причинам не предавался огласке. Правда, её потомкам это обстоятельство служило защитой, впрочем, ненадежной и слабой. Бастарды лишь в исключительных случаях обладают правом наследования. Их опасаются только тогда, когда не остается прямого наследника. А в то время наследники исчезали один за другим. Мой отец, а твой дед, граф Ричмонд Эдмунд Тюдор, был женат на её правнучке Маргарите Бофор, в которой все-таки текла королевская кровь, и потому был опасен как Йоркам, так и Ланкастерам, а когда я появился на свет, стал опасен вдвойне, ведь во мне тоже течет королевская кровь, кровь Джона Гента Ланкастера. Я ещё не родился, когда умер отец. Мать была молода. Ей было четырнадцать лет. Кто мог меня защитить? Меня преследовали те и другие. Я начал скрываться, когда был таким же, как ты. Маленьким мальчиком я уже испытал жестокость заточения и горечь изгнания. Когда на короткое время мне удавалось вырваться на свободу, мне приходилось скрываться, без денег и без друзей. У меня была только честь и кое-какие права на престол. Меня поддерживал и охранял только мой дядя Джаспер Тюдор, граф Пемброк. Мне было одиннадцать лет, когда Йорки захватили меня и держали как арестанта. Слава Богу, они не успели задушить или зарезать меня. Королем снова стал Генрих Шестой Ланкастер. Я мог жить на свободе, но очень недолго. Законный король был смещен, заточен и убит, когда мне исполнилось четырнадцать лет. Королем стал Эдуард Четвертый Йорк. Дядя считал, что моей жизни угрожает опасность, ведь я оказался единственным потомком Джона Гента Ланкастера. Мы оба бежали во Францию, чтобы сохранить свою жизнь. Буря нам помешала. Наш корабль оказался в Бретани. Франсуа, тамошний герцог, старше меня всего лет на семь или восемь, принял нас, но как своих пленников и долго держал в таком состоянии. К его чести, нужно признать, что обращался он хорошо и не показывал виду, что он мой господин. Я жил в его замке довольно свободно, стал говорить по-французски, знал наизусть французских поэтов, читал французские книги и слушал французскую музыку, французских певцов. За это я благодарен ему, но только за это.

В душе Генриха становилось тревожно и больно. Он прижимался к теплему телу отца, закрывал от страха глаза и слушал, слушал, как зачарованный, слушал так беспокойно и трепетно, что помнил каждое слово и часто видел кошмары во сне.

– Дяде не нравились мои увлечения. Он сажал меня на коня. Мы скакали вдоль берега моря. Наши лица обвевал свежий ветер. Он смеялся, оборачивался ко мне и кричал, когда мне удавалось с ним поравняться: «Хорошо! Хорошо!» Он повторял, что английский король должен быть воином. Я не сразу поверил ему, но очень скоро поверил. Судьба часто нас принуждает мечом добывать себе трон и мечом его охранять. Король без меча – либо изгнанный, либо мертвый король. Я это стал понимать, когда мне исполнилось лет пятнадцать-шестнадцать. Сколько я видел, короли только и знали, что бились, во Франции, в Англии, всюду, за корону, за новые земли. Немногие бились из удальства. Я стал учиться владеть мечом и копьем. Я был

тогда молод и часто болел. Тело мое ещё не созрело, а меч был тяжел и доспехи пригибали к земле. Но дядя твердил, что медлить нельзя. Мне надо было спешить.

Он задремал, прижимаясь к теплому телу отца, и видел его, невысокого, стройного, бледного, в золоченых доспехах, с двуручным мечом в обеих руках. Голос его шелестел едва слышно, издали, но ведь он помнил каждое слово:

– После первых успехов мы должны были возвратиться домой. У меня были права. Я был обязан их отстаивать. К тому же положение пленника было невыносимо. Дядя организовал наш побег. Где ему удалось достать денег, он мне не сказал, но он нанял корабль. Корабль прятался в маленькой бухте, куда не заходили другие суда. Я лег спать, как всегда, но не спал. Дядя тихо стукнул мне в дверь, один раз, потом два раза подряд. Я поднялся и выскользнул в коридор. Мы крались, как две тени. Мы не издавали ни звука. Часовой замка был, видимо, куплен. Вдали, за холмом, нас ждали верные слуги. Мы вскочили на лошадей и скоро были на корабле. Капитан тотчас приказал поднять якорь. Паруса были подняты. Мы вышли в море и взяли курс на Уэльс. Там была моя родина. Там у меня были сторонники. Они ждали меня. Но не дождались. Буря во второй раз изменила мой путь. Несколько дней и ночей мы носились по воле ветра и волн и вновь очутились в Бретани. Герцог впал в гнев, по счастью, недолгий, но теперь по ночам к нашим покоям ставили стражу. Не знаю, что бы стало со мной. Ведь мы не властны в себе. Господь решает за нас, кто мы и как мы должны поступать. Верно, буря была мне указанием свыше. Мое время ещё не пришло. Я должен был ждать. Мне пришлось ждать лет пять или шесть. И вот что в особенности поразило меня и поражает теперь: сигнал пришел не с той стороны, с которой был должен прийти.

Отец замолчал. Генрих пошевелился и застонал. Чья-то рука погладила его по щеке. Он прильнул к ней и затих.

– Тогда Глостер стал королем под именем Ричарда Третьего. Дядя всегда о нем говорил, что это было чудовище. В самом деле, слухи ходили, упорные слухи, что он и родился не так, как рождаются все: ногами вперед, и уже тогда у него были зубы. Он был сухорук и немного горбат, это я видел сам. Правда, он был невысокого роста, но довольно красив, с тонким и умным лицом, сражался как воин и знал толк в военном искусстве. Я думаю иногда, что он мог бы стать выдающимся королем, но Господь распорядился иначе. Он был верен брату и несколько раз выручал его из беды. И вот, не успел Эдуард Четвертый, его брат, отойти в мир иной, как точно бес вселился в него. Его племянник должен был стать королем, но его в те дни не было в Лондоне, и ему ещё не исполнилось тринадцати лет. Какое-то время править за него должна была его мать, но её не любили. Она была в Лондоне и промедлила недели две или три вызвать старшего сына к себе, опасаясь, что толпа горожан не допустит его. Ричард этим воспользовался. Он поспешил в Лондон во главе сильного войска, которое составляли северные бароны, преданные ему. С ним встретились лорд Риверс и Ричард Грей, которые сопровождали наследника. Они хотели договориться. Но что они могли предложить? Вечером Ричард принял их вежливо, а утром арестовал, обвинив в том, что они намеревались отдалить от него короля. Надо отдать ему должное, он действовал быстро и смело, распустил свиту племянника, арестовал его офицеров и объявил, что займет при нем должность протектора. Напротив, королева вела себя глупо. С младшим сыном и пятью дочерьми она укрылась в Вестминстере, полагая, что может быть там в безопасности, а её брат и сын захватили несколько кораблей и бежали, вместо того чтобы драться, пока Ричард ничего не решил. Он привез Эдуарда в Лондон и колебался. Он собрал парламент. Парламентом был назначен день коронации. Вдруг отправил он. Эдуарда в Тауэр, отстранил канцлера Ротергема, архиепископа, привлек на свою сторону герцога Бэкингема и лорда Говарда, обещав наградить их землями неугодных вельмож. Он не постеснялся пойти против женщины, собрал королевский совет и обвинил в колдовстве королеву. Он показывал руку и уверял, что это порчу она навела и повредила её. Он задал вопрос, какой казни заслуживает эта колдунья, и когда ему ответили, что наказания,

если только виновна, пришел в ярость, вызвал охрану и арестовал всех, кому не мог доверять. Одного тут же обезглавили во дворе, остальных бросили в Тауэр. Вскоре брак королевы объявлен был не действительным, потому что прежде король был обручен с леди Толбот и ещё потому, что королева завлекла короля колдовством. Её детей объявили бастардами. Единственным претендентом стал Глостер. Собрали олдерменов и крикнули Глостера королем. Вместо парламента вызвали депутатов от всех сословий, своим актом отстранили принцев от престола и просили Глостера принять корону. Он принял и был коронован. Народ оставался спокойным и равнодушным. Король тотчас уехал из Лондона. В его отсутствие принцы пропали. Убийцей молва нарекла короля.

В этом месте отец всегда оживлялся, говорил громче, быстрее, и Генриху начинало казаться, что здесь таится что-то такое, что он должен запомнить на всю свою жизнь:

– Он совершил большую ошибку. Принцы уже не были опасны ему. Зачем проливать ненужную, лишнюю кровь? Это бывает необходимо, согласен, только прежде надо сто раз подумать о следствиях. Особенно если пролить кровь предстоит королю. Он совершил и другую ошибку, может быть, ещё худшую. Он не сдержал своего обещания. Герцог Бекингем не получил тех владений, которые хотел получить, а ведь лишь ради них он и встал на сторону Глостера. Герцог был оскорблен. Ему пришла в голову мысль женить меня на дочери короля Эдуарда. В этом браке соединялись Ланкастеры с Йорками, и вражда между ними могла прекратиться сама собой. Нам дали знать. Дядя встретил это предложение с одобрением. Мы стали готовиться к возвращению в милую Англию, но у нас почти не было денег не было денег. Все-таки нам удалось выйти в море с горстью солдат, прибрежная стража была многочисленна и выказывала враждебность. Нам пришлось возвратиться, а заговор был раскрыт и Бекингем был казнен на рыночной площади в Солсбери. Мало кто из баронов его поддержал, и они получили прощение. На рождество был заключен договор о моем браке с той, которая родила тебя. Это укрепило мои права на престол, и герцог Бретонский решил меня поддержать. Его корабли перекрыли пролив. Английская торговля шерстью почти прекратилась. Ничего хуже для Англии и придумать нельзя. Начались волнения в лондонском Сити. Ричард решил купить герцога Франсуа, пообещав ему доходы с наших земель, если он выдаст меня. Франсуа колебался. Ричард был вероломен. Доверять ему было опасно. Меня спасли его колебания. Мне удалось бежать под защиту французского короля. Карл встретил меня дружелюбно. Королевский совет постановил выдать мне три тысячи, на которые я мог набрать солдат и снарядить корабли. Я был доверчив и от души благодарен ему, пока не узнал причины его дружелюбия. Видишь ли, сын, английские короли имеют права на французский престол. Чтобы они своим правом не пользовались, французские короли обязались ежегодно выплачивать им что-то около тридцати тысяч ливров. Наши междоусобия так ослабили нас, что они отказались платить. Карлу было выгодно дать мне в десять раз меньше, чтобы не платить в десять раз больше. Откажись Ричард от выплат, и он бы выдал меня, я думаю, с большим удовольствием. Я получил свой первый урок: никому нельзя доверять, ни на кого нельзя полагаться, достигать того, чего хочешь, нужно своими руками. Я также узнал, что в этом мире всё зависит от сведений, полученных вовремя, и от денег, которыми платят за верность. Без денег у короля не бывает друзей. Многие тогда бежали из Англии и собирались вокруг меня, но я скоро понял, что они не любили меня, а любили те блага и почести, которые вознамерились от меня получить. Я им обещал и выполнил обещание. У меня было около двух тысяч солдат и несколько кораблей. Мы высадились в Милфорд-Хейвене. Я поднял знамена Англии и Уэльса, потому что в Уэльсе была моя родина. Ко мне стекались сторонники. Вскоре я имел тысяч пять. Лорд Стенли поднял восстание и соединился со мной. С Ричардом мы встретились в поле у Босворта. В его рядах началась паника при нашей первой атаке. Ему подвели коня и предложили бежать. Он ответил, что умрет королем Англии. Он сражался с бешенством и мастерством настоящего воина, пока его не сразил удар топора. Удар пришелся по голове. Корона свалилась и заката-

лась в кусты. Тогда я единственный раз и видел его. В тот день, я думаю, он достоин был уважения. Тем временем корону нашли и возложили её на меня. Так я стал королем. Казна была пуста. Англия бедна и слаба.

Генрих пробормотал, просыпаясь ещё раз:

– Бедна и слаба...

Он расслышал, что теперь колокола били на всех колокольнях. Над городом стоял сплошной, стройный звон. В него изредка медленно, мерно, басисто вступал святой Павел и вновь замолкал.

Под этот хор пробуждался весь Лондон.

Генрих тоже проснулся, теперь окончательно, хотя его мысли ещё были во сне, и он недовольно, укоризненно прошептал:

– Беден... беден... и слаб...

Рыжая голова приподнялась у него на груди. Прямо на него блеснули озорные глаза. Анна улыбнулась и возразила:

– Мой повелитель здоров как бык и силен как медведь. Нынешней ночью он меня поразил.

Генрих долго смотрел на неё, не совсем понимая, о чем она говорит. Думал он совсем о другом, а когда понял её, произнес угрюмо и строго:

– Сына роди.

Она засмеялась:

– А как же? Рожу! Клянусь, что рожу!

Он нахмурился, выпростал руки, отодвинул её и пробурчал:

– Не клянись, но роди.

Она свернулась клубком и стала его щекотать.

Он хлопнул в ладоши.

Дальняя дверь растворилась бесшумно. С поклоном вступил камергер.

– Кромвеля ко мне!

Камергер так же бесшумно исчез. В ту же минуту на его место выступил Кромвель, широкий и крепкий, в черном камзоле и в черных чулках.

– Что там?

– По-прежнему... Ничего...

– Пойди и скажи ещё раз.

– Ведь говорил... Три года уже...

– Иди!

Кромвель исчез, точно тень.

Генрих потянулся, собираясь встать.

Анна вынырнула, веселая, молодая, горячая, проела тонкой рукой по лицу:

– Попробуем, прямо сейчас...

Он с недоумением посмотрел на неё:

– Что?

Она смотрела игриво и тянулась губами к нему:

– Сына родить.

Он рассердился, оттолкнул её от себя:

– Ступай!

Она тотчас вскочила, прошлепала босыми ногами и скрылась в узенькой дверце, которая вела в её спальню.

Глава вторая

Исполнение

Они вошли, сурово и молча, гремя железом оружия в проеме тесных дверей, скребя по каменным плитам толстыми гвоздями подкованных башмаков. Томас Мор приподнялся на своем тюфяке, обхватив худые колени руками. В его усталых припухлых глазах мелькнула открытая радость. Они заметили её недоверчиво и удивленно. Это были солдаты конвоя, одетые просто, тогда как Кромвель был необычайно разряжен. Синее шерстяное трико облегалo кроткие крепкие ноги. Камзол фламандского бледно-желтого бархата ладно обхватывал ещё не заплывшую талию и далеко не доходил до колен. Серебряная оторочка беспокойно мерцала на рукавах и груди. Золотая крупная цепь свисала с шеи чуть не до самого живота, на котором прыгал и вздрагивал рыцарский орден. Пышный берет с кокетливо-радужным перышком боком сидел на круглой, как шар, голове.

Он понял: у Кромвеля нынче день торжества. По всей видимости, его торжество угрожало ему наихудшим, но зловещая жгучая радость ещё не померкла. Эти люди не приходили к нему, как казалось, давно. Они надеялись обойтись без него. Должно быть, они высокомерно решили, что ни жизнь, ни смерть его уже не нужна. Он начинал опасаться, что его навсегда замуруют в этой осклизлой от сырости каменной башне и он станет упрямо, бесплодно размышлять о своем, всё о своем, о своем, но уже никогда и ничем не сможет им помешать, пока не исстарится, не иссохнет в полном забвении, не лишится ума. Он то раздражался в своем одиночестве, то с обреченным видом сидел у кона.

Неожиданно прервав его размышления, Кромвель выкрикнул торжественным голосом:
– Томас Мор!

Он повеселел от звуков этого ненавистного голоса. Рвущийся, высокий, победный, этот голос обещал что-то важное, может быть, ещё один поворот, так что он, обдумавши то, что скажут ему, сможет снова им помешать. Стало быть, продолжалась борьба. Стало быть, они не обошлись без него. Ему представлялась возможность ещё раз сказать свое слово или хотя бы молчанием сделать что-нибудь, даже отсюда что-то решить.

Голос Томаса Кромвеля звенел под каменным сводом:
– Именем короля!

Томас Мор плохо слушал ненасытные эти слова: и без того они были намертво выбиты в памяти. Для чего слушать, для чего повторять? И всё же они вошли, они в другой раз это твердили ему. Может быть, здесь и таился какой-то нечаянный или задуманный смысл? Он торопился понять, с какой целью Генрих прислал к нему Томаса Кромвеля, зорко и жадно вглядывался в него. Лицо Кромвеля было грубым и жирным. Самодовольно, повелительно, резко раскрывался плоский, жестокий, решительный рот. С ликованием бегали темные пуговицы злобных, точно обрывистых глаз, жадно хватая быстрые буквы. Узловатые пальцы цепко держали зыбкий свиток пергамента. По бокам цепенела надежная стража. Дымили багровые факелы. На длинных древках сверкали широкие топоры. На поясах тяжело обвисали мечи. Бородатый солдат в потемневшей тонкой кольчуге выглядел привычным и простодушным. Хмурое лицо молодого резал от глаза до подбородка ещё розовый шрам. Другой, единственный глаз глядел ненавидяще. Эта ненависть была непонятна. Он ничего плохого не сделал этому драчливому деревенскому парню. Он пытался его защитить. Томас Мор споткнулся на мысли об этом и внезапно отчетливо, слишком внятно расслышал:

– ... влачить по земле через всё лондонское Сити в Тайберн, там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти, снять с петли, пока он не умер, отрезать половые органы, вспороть

живот, вырвать и сжечь внутренности, затем четвертовать и прибить по одной четверти тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на лондонском мосту!

Сверкнув кровавым карбункулом, плотно втиснутым на указательный палец, Кромвель отпустил нижний край, так что пергамент щелкнул бичом и, сухо шипя, свернулся в тонкую трубку. Лицо Томаса Кромвеля сделалось ещё холодней, ещё надменней и злей. Пламя факелов потрескивало и трепетало в леденящей ужасом тишине. Даже в лицах солдат появилась угрюмость.

Тело Томаса Мора дрогнуло от муки безбрежной, уготованной ему королем, точно она уже свершалась над ним. Сердце убийственно сжалось. Однако сам он остался спокоен и тверд. Ему было ведомо уже третий год, что вызов, брошенный королю, грозит неминуемой гибелью. В сущности, так и должно было быть. Генрих король, а власть короля остается единой и неделимой. Только парламент может противоречить ему, но и парламент может быть им распущен. Таков английский закон. По складу своих убеждений Томас Мор и прежде неустанно готовился к смерти. Он её не боялся. Он боролся с решением короля, зная заранее, на что он идет, ведь он не слабоумный и не слепой. И вот приговор, с какой-то стати вновь прочитанный Кромвелем, таил и смерть, и надежду, и нужна была холодная трезвость ума, чтобы понять, куда клонят они, снова выбрать и снова рискнуть головой: им, верно, что-то нужно ещё от него. Что-нибудь важное. Ибо то, на что они замахнулись, потрясает самое основание Англии. Её умы, хозяйство, отношения между людьми. Тогда оставалась возможность остановить. Может быть, остановить на самом краю.

Томас Мор встал с тюфяка, потянулся всем телом и неторопливо опустился на табурет. Он сидел с достоинством, прямо, спокойно и пристально глядя перед собой, а Кромвель, сын сукнодела, по застарелой привычке остался стоять перед ним. Томас взглянул на него с невольной усмешкой и ощутил превосходство свое уже оттого, что самодовольный, властный, победоносный приемник его на высшем посту не решился сесть перед ним, смещенным давно, давно не отдававшим никаких приказаний. Он вдруг показался себе не приговоренным, а зрителем и, позабыв о себе, с любопытством наблюдал человека. Даже взяв верх, в вожделенном, однако не предвиденном торжестве, с почти бескрайней властью в не знающих жалости, хищных руках, человек оставался верным слугой. Только слугой. Не больше того.

Ещё в ранней юности Томас Мор пришел к убеждению, что никто не родится ни прихвостнем, ни лакеем. Воспитан ли Кромвель годами тяжелых лишений? Разнузданная ли жадность погубила его? Честолюбие ли ломало и гнуло? Это, в сущности, всё равно. Недостойный стоял перед ним. Мнимый владыка его головы. В нем вспыхнуло непримиримое, гневное озорство. Он дернул седую узкую бороду и небрежно, повелительно произнес:

– Я разрешаю сесть вам, милорд.

Тело Кромвеля двинулось привычно, послушно. Униженная благодарность затлепа в повлажневших глазах. Они растерянно искали второй табурет. Но сам Кромвель был умен, был силен. Он успел спохватиться и остался стоять, коренастый и плотный, с окаменевшим лицом. Колюче поглядел он перед собой близко поставленными, злыми глазами. Только голос сорвался и выдал его:

– Вы ничего не поняли, мастер? Впрочем, как вам понять... Ведь вы образованный человек...

Поглаживая бороду привычным движением истонченной руки, Томас смотрел на него с сожалением и сосредоточенно ждал, какими напастями прислан тот его запугать, какими средствами к покорности наконец привести.

Моложав и крепко был Томас Кромвель. Служил когда-то солдатом, но не набрался рыцарской чести. Валял сукна. Давал деньги в рост. Приобрел контору нотариуса. Нажил деньги, но не нажил щепетильности, чести, присущих ремесленникам и правоведам, слово которых нередко бывало надежней расписки. Его дух искривился в жажде почестей и богат-

ства, но тело и на сорок девятом году не утратило прочности. Мышцы ног, обтянутые тонким сукном, выпирали стальными буграми. Вся напряженная, собранная фигура дышала нерастроченной физической силой. Слишком недавно дотянулся до милостей короля, и по напряженному сильному телу можно было легко угадать, что ещё долго надеялся хватать эти милости на лету, жадно вкушая их пьянящую, терпкую сладость, не ведая, что такое милости короля.

Томас Мор усмехнулся, неожиданно и открыто.

Не отводя сверлящего взгляда, Кромвель отчеканил с угрозой, ткнув в его сторону стиснутым свитком:

– Вам страшно этого, мастер!

Он понял теперь, что означала эта уловка, и улыбнулся с презрением:

– Приговор я слышал в суде. Во второй раз это несколько скучно. Сейчас – всё равно.

Кромвель шагнул, точно хотел ударить его, повторил зловеще, сумрачно, властно, заставив подумать, что испугался бы сам:

– Эти муки невыносимы. Даже для вас. Я обещаю.

Генрих знал, кого лучше прислать. В глазах многих король выглядел сумасбродным кутилой, неразборчивым бабником, самовластным, капризным, тупым, простачком. Думая так, многие не боялись его и надеялись легко обмануть. Кромвель был тоже из них и даже представить, должно быть, не мог, что всего лишь балаганная кукла в лукавых, умных руках короля, отправленная сюда как будто случайно, возможно, после нескольких стаканов вина и короткого сна. Послан зачем? Скорее всего разыграть перед ним простую, но втайне двуликую роль. На самом-то деле король был искусен, образован, дальновиден, разумен и очень опасен своим редким умением прятать от всех настоящую цель того, что делал и что говорил.

Он рассмеялся бедному Кромвелю прямо в лицо:

– Полно корчиться, Кромвель. Свою плоть я почти укротил многодневным постом. Я смирил её власяницей. Я каждое утро секу её сырмятным бичом. Не проволокут её и десяток шагов, как рассудок мой отлетит, и прочее свершится над бесчувственным телом. Чего мне, твоя милость, бояться?

Кромвель поднял ненужную руку со свитком и тут же её опустил. Должно быть, свиток мешал ему видеть близкую жертву. Испытующе поглядели они друг другу в глаза. Кромвель первым потупился и с угрозой сказал:

– Этим, мастер, не надо шутить!

Выходило: они его снова пугали, новым страхом они принуждали его уступить. Стало быть, его никчемная жизнь всё ещё оставалась в цене, её по-прежнему хотели купить, предлагая за неё какую-то новую сделку. Он твердо, почти угрожающе произнес:

– Я не шучу.

Кромвель отрезал словно бы с огорчением на мясистой лице, но с открытой ненавистью в хрипящем, пониженном голосе:

– И не шути. Ничего не осталось тебе, как молить короля о пощаде.

Этого Кромвель не должен бы был говорить: уловка становилась слишком заметной. Лучше бы Генриху прийти самому, Генрих не проговорился бы так откровенно, а него была бы возможность в который раз изъяснить, что с одними лакеями управлять государством нельзя. Генрих чувал это своим верным, искушенным в политике, изощренным умом, иначе не стал бы с ним торговаться. Может быть, и догадался уже? Жаль, что не понял и, может быть, никогда не поймет, что не всякий поддается постыдному страху и не всякого можно купить. По этой причине и подослал дурака, а у дураков даже нет надобности выведывать тайну, дураки ничего не таят про себя.

Томас Мор смерил Кромвеля долгим взглядом и разыграл удивление:

– Что нужно королю от готового к смерти?

Кромвель дернул плечом и напыщенно произнес:

– Это знает только король!

Ему припомнилась изящная латынь Цицерона и гордый обычай доблестных римлян. Улыбаясь небрежно, он поднял руку, точно обнажал меч перед боем, и шутливо проговорил:

– Передай королю: Томас Мор, идущий на смерть, приветствует его.

Кромвель искривил губы в довольной улыбке. Рот приоткрылся, готовя, должно быть, дерзкий ответ. Только глаза метнулись от страха, и внезапно застыло лицо. Кромвель обернулся и сделал повелительный жест. Безусый воин шагнул поспешно к стене, разгоня испуганные тени перед собой, и твердой рукой вставил факел в кольцо. Кромвель взмахнул ещё раз рукой и бросил:

– Там ждите!

Дверь послушно громыкнула железом, и они остались одни.

Томас Мор следил за ним и, улыбаясь язвительно, похвалил:

– Ты очень осторожен, твоя милость. Верно, многому научился, служа кардиналу Уолси.

Кромвель ответил небрежно:

– У вас тоже учился, мастер.

Он посмотрел с удивлением:

– У меня-то чему ты мог научиться?

Закинув голову, чтобы казаться выше, значительней себе самому, Кромвель провозгласил с угрозой и вызовом:

– Всему!

Тогда он спросил повелительно-громко:

– Зачем ты явился сюда?

Кромвель вздрогнул и почтительно вытянулся на миг, в напряженном голосе промелькнули робость и сожаление:

– Это приказ.

Он отрезал:

– Ты исполнил его. Ты можешь идти.

Кромвель потупился и нехотя выдавил из себя:

– Есть люди, которые надеются на ваше раскаянье, мастер.

Он насмешливо переспросил, заменив одно слово другим:

– Чего хочет король от меня?

Кромвель потупился и нерешительно, осторожно сказал, покосившись на дверь:

– Вы, должно быть, нужны ему, мастер... и всё чепуха...

С дураками, к несчастью, тоже есть свои трудности. Зачем открывать то, что он сам давно угадал? Нечто темное оставалось в другом. Кто в нем нынче нуждался? Генрих или король? Скорей всего, конечно, король... Ведь в Англии неспокойно... Мало ли что... Правда, ещё надо проверить... И он, стараясь выглядеть ко всему равнодушным, напомнил, отчетливо разделяя слова:

– Король иногда называл меня своим другом.

Кромвель возразил, кривя тонкие губы:

– Что дружба? Пустые слова.

Он машинально поправил:

– У таких, как ты, даже меньше.

Кромвель подался вперед. Ноздри его раздувались. Он раздраженно, веско проговорил:

– Он – король милостью Божией! Не забывайте этого, мастер! Особенно здесь!

Томас не считал нужным против этого возражать. Король милостью Божией – ведь это бесспорно. Бесспорно и то, что он всего лишь подданный короля. Он думал о том, что, видать по всему, в нем по-прежнему нуждался тот, кто был милостью Божией, в нем, своем поддан-

ном. Стало быть, на этом свете его удерживали дела государства. Какие дела? Неужели король страшится восстания, как только падет его голова?

Словно бы огорченный, словно бы ожидавший чего-то иного, он нахмурился и решительно молвил:

– Мне противна королевская милость.

Кромвель облегченно вздохнул:

– За этим я и пришел!

Он не спросил ни шутя, ни всерьез, что нужно новому канцлеру от бывшего канцлера, приговоренного к смерти, ожидая на своем табурете, когда тот разболтается сам. Повисло молчание, долгое странное. Оба не шевелились. Один стоял. Другой неподвижно сидел перед ним. Наконец Кромвель заговорил, зловеще, но тихо:

– Я, мастер, тоже знаю вам цену, не только король. Возможно, вы стоите всё ещё полководства. В Англии нет равного вам по смелости и уму. Не знаю, как в других государствах. Я там не бывал. Вас долго любила удача. Если бы вы не изменили ей сами, она бы вам оставалась верна и теперь. Я это знаю. Знаю и то, что вдвоем нам тесно в королевских покоех.

Он равнодушно кивнул:

– Ты прав. Очень гадко жить рядом с подобной канальей.

Кромвель стиснул сильные челюсти, сжал тяжелые кулаки, готовый броситься на него, готовый убить.

Томас Мор вдруг соблазнился чуть не подставил себя под удар, вероятно, смертельный. Одним разом покончить теперь, чтобы целый день и ещё целую долгую ночь не ждать обреченно, томительно обещанных пыток, но он тут же опомнился, отстранил от себя бесчестную мысль и властным взглядом взглянул на врага. Он не имел права позволить себе умереть понапрасну. Его жизнь была ставкой в опасной и сложной игре, в которой решалась судьба веры и судьба государства. Он выбрал себя за ненужную дерзость, ведь он ничем бы не смог себя защитить. Он улыбнулся, непринужденно и весело:

– Про себя и ты иначе не называешь меня.

Кромвель опомнился тотчас, грузно сел на скамью, широко расставил мускулистые ноги, толстыми ладонями оперся о колени и с дружелюбной угрозой сказал:

– Не шутите, мастер, со мной. Я бы мог вас убить, и завтра во всех концах государства отслужат благодарственные молебны: я прикажу прославить меня как спасителя короля и отечества от происков дьявола, как героя или святого, чем мне заблагорассудится выбрать для развлечения. Но этого нам с вами лучше не делать. Я все-таки хочу посмотреть, как искусный палач вспорет вам брюхо ножом и примется мотать из него потроха себе на кулак. Сможете ли, мастер, шутить и тогда?

Он внутренне вздрогнул, представивши мысленно эту картину и окровавленный этот кулак, поросший рыжей щетиной, и негромко сказал:

– Да поможет мне Бог.

Кромвель зло рассмеялся:

– Наш Бог не поможет тебе, ведь ты отступил от него. Ты завопишь от боли и ужаса. Ради такого прекрасного зрелища я потерплю один день и одну ночь.

Он покачал головой:

– Ну нет, ты ничего не услышишь.

Если у него так мало времени, то Кромвель своей болтовней его отнимал. Томас Мор повелительно посмотрел на него, надеясь, что тот передал всё, что было приказано или, может быть, брошено невзначай, наслаждался своей властью над ним и оставит его наконец одного. Напрасно. Кромвель тяжело и угрюмо уставился в угол, не то всё ещё сдерживая себя, не то ещё пуще распаляясь от жажды мести, до того болезненно, хищно были стиснуты челюсти, даже толстые вены обозначились на висках.

Тогда он сказал:

– Томас Кромвель, тебе пора уходить.

Тот вздрогнул, резко поворотился к нему и выдохнул ненавидяще, зло:

– Нет, не пора, ещё не пора, Томас Мор!

Жажда мести и злость были естественны, были понятны в таком человеке, который только что с самого низу поднялся на самый верх: нищие духом так жестоко глумятся над тем, кто повержен, и так гибко сгибаются перед тем, кто силен. Он лишен был возможности помешать издевательствам. Он был пленник и узник. В его положении негодовать, даже просто сердиться было бы глупо. О Томасе Кромвеле он думал без злости и мстить ему не хотел. Конечно, он не мог не видеть в этом разряженном выскочке подлеца, но этот подлец был из обыкновенных и мелких, они всегда увиваются подле власти и лезут во власть. Кромвель поддался соблазну. Посты и богатство ему застилали глаза, как они застилали глаза и другим, чуть ли не всем, среди которых были и хуже, были и лучше, чем он. Так должно быть всегда, пока существуют государство и деньги. Если уж ненавидеть, так ненавидеть эти извечные источники зла, а Кромвель сам по себе ненависти не заслужил.

Вперемешку он размышлял о деле, которое ещё не было кончено. Он своей жизнью не дорожил и надеялся без сожалений, без слез в любое время с ней распрощаться, как подбает разумному человеку с нравственным законом в душе, но крепко держался всегда за неё. Почему? Единственно потому, что служил свою службу своему Богу и этому самому государству, которое было в его представлении источником зла. Иногда он надеялся, что именно ему суждено приблизить хотя бы на шаг то огромное, то важное понимание жизни, которое бы избавило смертных от рокового соблазна.

Слушая Кромвеля, он с особенной остротой, с горькой, болезненной ясностью всем своим сосредоточенным существом понимал, что ему нужно жить, что жить ему непременно необходимо, то есть необходимо не уступать и пытаться выиграть даже теперь, после нового, такого странного чтения приговора суда. Иных желаний уже не было у него. Принуждая себя смиряться с докучливым присутствием этого добровольного грешника, он считал, какова вероятность того, что он, несмотря ни на что, останется жить. Вероятность была худа и скупа. Почти ничего. Едва тлевший уголек от большого костра. Король явным образом намерен был пойти до конца, и Кромвель прямо сказал, что потерпит всего один день и одну ночь. Сомневаться бы было нелепо. Там, разумеется, обдуманно всё, всё решено. Привычный к делу палач уже готовит нож и секиру.

Но король не в первый раз угрожал ему казнью и все-таки в последний момент отступал уже несколько раз. Причин его колебаниям нашлось бы довольно, пожалуй, вполне достаточно для того, чтобы ещё какое-то время сохранять ему жизнь, хотя ни одна из причин не принадлежала к разряду благородных и чистых. Нелегко казнить друга, как Генрих в самом деле его иногда называл, обхватив за плечо своей тяжелой рукой, полуискренне, полушутя. Подобные чувства могли быть у него, могли и не быть. Стало быть, не они всякий раз принуждали короля отступать: в политике доброты не бывает, а Генрих был настоящий политик, что бы ни говорили о нем, своенравный, но могучий король.

Намного трудней отсечь голову бывшему канцлеру, который имел поддержку парламента. За ним не числилось ни обыкновенного воровства. Тем более он не был замешан ни в какую государственную измену, в которой обвинили его. Всякая власть должна быть справедливой хотя бы по виду. Разумный правитель обязан считаться с законом. И уж совсем нелегко искромсать человека, в котором гуманисты Европы видели лучшее украшение Англии, о котором Эразм говорил, что общение с ним было слаще всего, что в жизни, богатой дарами, довелось отведать ему.

Эразм, Эразм... не всегда надежный, но искренний друг...

Стало быть, украшение Англии заманчивей приручить, как европейские государи приручили Эразма. Тогда многие, очень многие, по примеру его, покорятся безмолвно. Эту истину король знает твердо, тогда как последствия казни рассчитать едва ли возможно. Мученик неудобен, мученик опасен для власти.

Может быть, именно в этих колебаниях короля его единственный шанс...

Обхватив плечи легкими худыми руками, сжавшись на табурете в комок, невольно похожий на петуха, который взлетел на насест, Томас Мор отрешенно вглядывался перед собой и видел смутно, размыто почернелые стены, слабый свет из окна, дымный свет факела и пестрого человека на тюремной, сколоченной грубо скамье. В сущности, перед ним была почти тень, которая подавалась вперед, левая рука напряженно вцепилась в колено, правая теребила округлый жиреющий подбородок, и озлобленный голос звучал от этого глуше:

– Не сомневаюсь, мастер, что вы не уступите, не станете уступать. Другой на моем месте стал бы вас склонять к примирению, но я не стану столь опрометчиво отнимать добычу у палача. Теперь вас ничто не спасет. Ещё день, ещё ночь...

Что ж, он больше никогда не увидит ни короля, ни Эразма. Одна только мысль его остается свободной, ещё день, ещё ночь, если бы не этот безмозглый дурак. Ещё можно, сидя здесь, в одиночестве, взаперти, много часов поспорить с Эразмом или выбрать другую, не менее интересную тему для размышлений.

Но причем тут Эразм?..

Он открыл глаза и пренебрежительно, с откровенным неудовольствием взглянул на докучного гостя, кричавшего что-то, чего он не разобрал. Перед ним качался, двигался, извивался пышный фламандский берет, бархатный желтый камзол, под которым теперь угадывалась броня, точно он мог и хотел покуситься на самую жизнь этого вестника смерти, и одиноко скучающий орден, теперь сместившийся с живота и повисший между ногами.

Он невольно подумал об этой дурацкой гремушке, ради которой Томас Кромвель верой и правдой служил королю. Не из гуманности, не из чести. Просто почести любил человек. Впрочем, ещё больше деньги любил. За деньги, за почести готов был на всё. Красовался собой, гордился наградой, не стоившей, в сущности, ничего, кроме, конечно, того, что стоило золото и драгоценные камни, пошедшие на то, чтобы изготовить его. Ведь не забыл нацепить знак своего возвышения, отправляясь сюда, в эти безлюдные стены, видимо, для того, чтобы ослепить и унижить своим величием несчастного узника, да в гневе забылся, присел так небрежно, что цепь опустилась чуть ниже обычного, и орден, редчайший из всех орденов, теперь выглядел предосудительно и смешно.

Его дивило всегда, каким странным образом могли обманываться многие из людей, будто привешенная к груди фигурка из золота и камней может свидетельствовать о достоинстве человека, которому пожаловал эту фигурку другой человек. Сколько уж раз в этом мире выказывалось ничтожество почестей, а иная награда...

Он вдруг оборвал себя, испуганно и смущенно. Как и зачем он забрел в эти невинные дебри? Это всё вздор, пустяки, погремушки ума. Теперь эти мысли не стоили ничего. В последний день, в последнюю ночь думать обязан он о другом. Проклятый болтун!.. Болтуном, разумеется, обозвал он себя самого, но тотчас расслышал, как перед ним возбужденно и громко разглагольствовал не в меру разряженный Кромвель, при других обстоятельствах всегда одевавшийся скромно, в черный костюм, без единого украшения, говоривший о благочестии и бескорыстии помыслов. Он так здесь мешал, что Томас Мор от него отвернулся.

Тоже пыжится доказать... скорее себе, чем другим... звуки пустые...

Он припомнил, что размышлял перед тем об Эразме, потому что подумал о короле. В самом деле, именно по этой причине, быть может, он всё ещё жив... Но почему?.. Это по-прежнему оставалось загадкой. Он ломал над ней голову много дней и ночей. Едва ли был

смысл ломать над ней голову нынче Он попробовал снова думать о Кромвеле. Этого несчастного было даже несколько жаль.

Он пригляделся к нему повнимательней. Физиономия Кромвеля выражала уверенность, что решительно всё станет так, как он сам себе предрекал в samozабвенной, не прерывавшейся речи. Возможно, в мыслях своих Кромвель уже правил страной, как хотел. А он видел, что Кромвеля поджидала беда. Король самовластен и вспыльчив, но жуликов и хапуг до глубины души ненавидит и долго рядом с собой не может терпеть. Кромвель же своекорыстен и глуп, как торговка на рынке. Впрочем, понятно, ведь сам он бывший торгаш. Едва ли сумеет остановиться хотя бы на середине. Они все таковы. Без нравственного закона в душе. Не сдобровать ему, когда попадетсЯ. Король бывает неумолим в праведном гневе своем. Может быть, вдруг все-таки понял кого на кого решил променять?..

Ему стало горько и грустно, захотелось предостеречь самодовольного негодяя, и он почти с сожалением произнес:

– Да, ты какое-то время будешь занимать мое место, но последуешь за мной слишком скоро. Кто-то сменит тебя?

Кромвель продолжал, точно не слышал его:

– Я одного не пойму. Как вы, мастер, вы, мудрейший из смертных, как сплошь и рядом судачат вокруг, могли совершить роковую ошибку? Как не могли прозреть простейшую истину, что королям не перечат, что ослушников короли время от времени отправляют на плаху? Нет, я, Томас Кромвель, такой ошибки не совершу! Я не стану прекословить монарху ни в чем! Пусть верует, что всё в королевстве свершается его единственной волей. Уже теперь он делает то, чего хочу я, не подозревая об этом. В сущности, мастер, с королями так просто! Короли не мешают, если с ними обращаться умело. Нам мешают такие, как вы. Вот вы завтра уйдете с дороги – и я сделаюсь повелителем Англии. Я всех заставлю покориться волей моей, только моей. Я скуплю земли, заведу мастерские, воздвигну дворцы, и подвалы мои наполнятся золотом. Я буду царствовать, мастер! Я перестрою весь мир! Я, бывший солдат, а не вы, набитый ученостью, святой человек! Вы не смогли, но хотели всё изменить, я-то знаю, меня не обманешь, уж нет! Чую я, чутье у меня! А вот я изменю, не по-вашему, дудки, и королю будет казаться, что всё это делает он, ха-ха-ха!

В его безумных пророчества слышалось что-то обидное, горькое, хуже и отвратительней смерти, которая караулила его за стеной. Ведь изменит, изменит, подлец. Так изменит, что люди станут друг другу хуже волков. Да, он всё мечтал изменить. Не сразу, конечно, ведь человек меняется медленно. Человек может и должен стать лучше, а для этого человеку вера нужна, чистая вера, как заповедал Христос. У него вся жизнь на это ушла. В его жизни корыстного не было ничего, разве только семья. На свои прихоти он не потратил ни денег не времени. Разве что на сон и еду. Он душу вкладывал и когда писал и когда служил королю. Он принял высшую власть лишь для того, чтобы что-нибудь изменить. И уже начал менять, чтобы на первый случай сдвинулось что-то, возможность наметилась иных перемен, поколебались своекорыстие, эгоизм, отступили хотя бы на шаг. Он верил, что поколеблется и отступит потом, что этого ему не увидеть, ни сегодня, ни завтра. Много времени на это уйдет. Может быть, тысяча лет. И тут явился этот подлец. Цель его жизни – только он сам, и Томас Кромвель действительно готов перестроить весь мир, единственно ради того, чтобы подняться над всеми. Жалкий, безмозглый болтун. Иначе он о Кромвеле думать не мог, но что-то скребло и смущало его. Какое-то жуткое поднималось сомнение. Чужой голос тихо, но твердо шептал, что изменит, изменит надолго, может быть, навсегда. И он против воли грубо спросил:

– Что изменишь ты, Томас Кромвель?

Тот выкрикнул высокомерно, непоколебимо, именно твердо:

– Всё!

И выбросил руку вперед, стиснув пальцы в костистый кулак:

– Я разрушу старую веру в Христа! Пусть они примут мою! Я сделаю нищими владельцев земель и богатств! Я отдам земли тем, кому захочу! Владеть будет тот, кто силен, предприимчив, умен, кто не остановится ни перед чем! Это будет новая справедливость и новая жизнь!

Томас Мор слушал внимательно, хотя все эти мысли и жажда и страсть были знакомы ему. Отнять и забрать! В этой жажде земель и богатств не всё звучало пустым хвастовством, и вера переменялась уже, и в монастырских хранилищах уже шарили жадные руки, и передать богатства и земли другим было довольно легко. На это, во всяком случае, Томаса Кромвеля хватит, только досталась бы полная, абсолютная власть. Не надолго. На несколько лет. И Англию не узнать.

Его поражало всегда, что по видимости все желают как будто одного и того же. Кого ни послушай, всем наш грешный мир не мил, не хорош, не просторен, не добр, не справедлив. Все хотели бы разрушить до основания старый порядок, испепелить несогласных и создать новый порядок вещей, не похожий на прежний, удобный, добрый, справедливый, но не для всех, а только для них, для сильных, для умных, для тех, кто не остановится ни перед чем. Почти все, по правде сказать. Дворяне захватывали земли крестьян, крестьяне хотели отнять их у дворян. То же бродяги, суконщики, коммерсанты, арматоры, владельцы домов. Все хотели разрушить, чтобы отнять у другого, взять себе и устроить по-новому свою жизнь, без мысли о том, что будет с другим. И вот мир, такой переменчивый, обновленный уже столько раз, терпеливый и вечный, остается таким же, как был, с тем же злом, с той же несправедливостью, с той же враждой, с той же жаждой разрушить и захватить. Без сомнения, Томас Кромвель многое, если не всё, переставит на другие места, как было очевидно и то, что он сам ничего переменить не сумел, не успел. С мечтой о другой справедливости, о братской, истинной христианской любви он прожил всю жизнь, и в его неудаче была какая-то ужасная тайна. Он угрюмо спросил:

– А ежели это не удастся тебе?

Кромвель презрительно ухмыльнулся в ответ:

– Удастся, мастер, удастся наверняка! Не по-вашему стану я действовать, нет!

Как станет действовать было известно. Тем не менее по какой-то причине разговор становился всё интересней. Он поспешно спросил:

– Зачем тебе это? Растолкуй мне, зачем?

Глаза Кромвеля сверкнули зеленым огнем:

– Вам, мастер, этого не понять! Ваша жизнь была проторенной и чистой, не то что моя! Меня топтали всю жизнь, топтал всякий, кто имел деньги и власть. Каждый день я терпел унижения. Меня оскорбляли, оскорбляли молча, без малейшего зла на меня, лишь потому, что я принадлежал к другому сословию, не имел власти, был беднее других. И вот, когда всё в этом мире я устрою по-новому, увидят тогда, кто есть Томас Кромвель, бывший солдат!

Он понимал, что в этих грязных мечтах не было ничего, кроме пошлого эгоизма, оскорбленного глубокого самолюбия и вражды к тем, кого он боялся всю вою жизнь: возьмут – и посадят, захотят – и убьют, и это угнетало его. Он тотчас представил себе, сколько бед натворит, сколько крови прольет, сколько оставит нищих, бродяг и сирот этот бывший солдат, чтобы всё иметь и командовать самому. Вероятней всего, станет командовать, отнимет, возьмет, отдаст тем, кто поддержит его, пустит по миру сотни тысяч людей. Что же утешит его перед смертью? Разве что то, что Томас Кромвель не успеет натешиться вволю, убьют как собаку или повесит король. Он повторил почти зло:

– Короли не надежны, и недолго придется мне ждать тебя в царстве небесном.

Усмехнулся и ядовито прибавил:

– Если тебя пустят туда!

Кромвель вскочил. С грохотом повалилась скамья. Дверь растворилась со скрежетом. В проеме запуталась оторопелая стража. Кромвель бешено крикнул, оборотившись назад:

– Вон отсюда! Кому говорят!

Солдаты, испуганно торопясь, кое-как выбрались задом и осторожно прихлопнули железную дверь. Кромвель согнулся, хрипло шепча, брызжа горячей слюной:

– Нет, мастер, не-е-ет! Жизнь справедлива! Я верю! Я знаю наверняка! Есть закон: жизнь уступает лишь тем, кто не гнушается замарать свои руки в крови!

Он переспросил отстраняясь:

– В крови?!

Кромвель захохотал:

– Эх, вы, неженка, чистоплюй! Да, мастер, в крови! Это страшный закон, но закон! Оттого и слезы людские, и обиды, и боль!

У него стало нехорошо на душе. Он было начал:

– Нет, я не боялся замарать своих рук...

Кромвель спросил, хохоча:

– Помилуйте, мастер, разве вы умрете за то, что ваши руки по локоть в крови?

Он содрогнулся, хмуро ответил:

– Эту честь я оставляю тебе.

Кромвель удовлетворенно воскликнул:

– Вот почему вы должны умереть! Как можно скорей!

Он посмотрел на него с сожалением и напомнил:

– Ты тоже умрешь, даже если станешь по горло в крови.

Кромвель отмахнулся беспечно:

– Полно, мастер, пугать! Я не умру!

Он тихо напомнил старую, но забытую истину:

– Все умирают. Даже великие. Что ж говорить о богатых и властных.

Кромвель испуганно отшатнулся и не возразил ничего.

Тогда он спокойно утешил его:

– Успокойся, я умру на день раньше тебя, если тебе эта мелочь приятна.

Кромвель нервно, коротко хохотнул:

– Вот то-то и есть! Мне это приятно! Я счастлив!

Он с сожалением посмотрел на него:

– Рад услужить тебе, Томас Кромвель, хоть этим.

И прежние мысли воротились внезапно, и он отчаянно вопрошал, отчего негодяй остается лить кровь, а он, не замаравший в крови своих рук, прежде времени должен свалиться в могилу? Разве не лучше было бы для земли и людей, если бы раньше хоть на день ушел негодяй? Им горько, им круто придется от торжества тех, цель которых – переменить владельцев земель и богатств. А тогда – прочему?!..

Больно и скорбно становилось ему, но боль и скорбь вызвал не этот угрюмо-ненужный вопрос, а лишь то, что ответы он давно и недвусмысленно знал, так они были очевидны и просты. В сущности, он обречен был с первого шага, который был сделан юношей, семнадцати или восемнадцати лет, если не раньше. Не смотреть бы, не видеть, не знать ничего! Быть слепым и наивным, как Кромвель! Не понимать! Но он видел, он понимал. Он видел и понимал, что именно так самовластно управляло людьми, какие желания двигали ими. Он не сомневался, что Кромвель останется, а прежде времени в могилу свалится он, что Томас Кромвель последует за ним очень скоро, а там новый Кромвель, ещё и ещё, ибо несокрушимая сила таилась в жадности человека. Всё было удивительно просто: человек жаден и по этой причине деньги, земли, дома испокон веку владеют людьми, отнимая разум, отнимая совесть и честь.

Внезапно Томас поднялся, оттолкнув табурет, и стремительно зашагал вдоль стены, не представляя, не понимая того, куда он идет, когда, в сущности, некуда было идти. Шагов через пять он очутился в дальнем углу и едва не ударился лбом о камень стены, но успел повернуться, скорей по инстинкту, и встал, опустив голову, сложив руки крестом на груди. Его узкие плечи

обвисли. Худое лицо потемнело. Бледные губы шевелились и вздрагивали. В горле сипело и клокотало. Глаза не видели ничего. В мозгу стучало без всякого смысла одно и одно:

«Деньги, земли, дома... деньги, земли, дома... ещё власть... власть над людьми... черт бы их всех побрал!..»

Гнев и бессилие душили его. Он положил на это все силы ума, но всё оставалось, как было, а он уходил прежде времени и не мог не уйти. Об этом лучше бы было не думать, ему надлежало отринуть, оттолкнуть от себя искушение, но, должно быть, он угадал и в этот день, в эту ночь решалась жизнь его или смерть, и если ему предоставлялся этот единственный шанс, предстояло обдумать, как этим шансом воспользоваться, а проклятые деньги, земли, власть и дома продолжали стучать в голове, не оставляя его. Хотелось прогнать их. Зачем? Почему?

Он взглянул на Кромвеля из угла. Должно быть, его пророчества и насмешки вывели наконец того из себя. Ярость, обида и страх туманили и без того не крепкую голову, а чувство близкой победы заглушало привычную осторожность и скрытность. Томас Кромвель грозил кулаком, сминая крепкими пальцами уже перекрученный снятый берет, и бешено метался по каменной келье, натываясь на скудную мебель, отшвырнув ногой некстати подвернувшийся табурет. Смешно было видеть, как тупо будущий владыка вселенной мотал круглой, как шар, головой, отбрасывая включенные пряди волос. Тягостно было смотреть, как низменно выражал свои смятенные чувства слабодушный, на крови людской всходивший тиран. Было жутко сознавать, какие страшные силы уже вздыбились в этом ограниченном, необразованном и безнравственном человеке, который не сможет успокоиться до тех пор, пока эти силы не разовьются в нем до предела и сами не сожгут, не погубят себя. Жажда власти, жажда денег, домов и земель – им только один есть предел...

А в ушах бился истошный, истерический крик:

– К черту паршивых метателей! К черту пророков братства и равенства во Христе! Всем сверну шею я, Томас Кромвель, внук мужика, сын простого ремесленника! Я стану бичом Божиим, секирой, костром и веревкой! Я стану судить не дела, не слова, не мысли, потому что ни дел, ни слов, ни мыслей, мне не угодных, отныне не будет! Я стану судить за отсутствие мыслей и дел, потому что все должны думать и делать, как я! Я стану судить за молчание, потому что в молчании тоже кроется бунт! Я дам веревку бродягам, вольнодумцев брошу на плаху, еретиков пошлю на костер! Я разорю монастыри и вышвырну на свалку святыни! Я переплавлю дароносицы в слитки, сожгу мощи святых, разгоню попов и монахов, если им будет дарована жизнь! Жить останутся только те, кто следует за своим повелителем и прославляет его имя в веках! Этим я швырну кое-что из церковных имуществ. Вот увидите, они завопят от восторга, величая меня вождем, мудрейшим из мудрых, творцом благодати, светом вселенной и богом своим или чем я захочу, лишь бы я кинул им кусок пожирней! Люди жаждут добычи. Люди враждуют из-за неё. Сытые довольны всегда. И я ни перед чем не остановлюсь ради сытости тех, кто пойдет со мной и рядом со мной и восславит меня как героя! А ты тем временем станешь гнить. И сгниешь. И даже гнусное имя твое позабудется через полгода, как я прикажу!

Он понимал, что так и будет, ведь он тоже знал, что есть человек, но у него не было злобы на Томаса Кромвеля. Тоска адская, жгучая сокрушала его, наполняя душу всё плотнее, всё гуще, как зимний морозный склизлый туман. Отвращение к жизни мучило его. Не к своей личной, маленькой жизни, которую он всё же любил и терять не хотел, но с которой уже готов был расстаться без особенных мук, тем более без смешных сожалений. Нет, ко всей этой близкой, любимой, омерзительной, глупой жизни людей, обманутых, обманувших себя. Он был уже стар, чтобы плакать, и потому соленые слезы не облегчали его. Тяжелые мысли тянулись неотвязно, неотразимо, отравляя его, наполняя недобрыми чувствами, недостойными и чужими, не свойственными ему. И они доставляли ему горячее, коварное, как он понимал, наслаждение.

Речи Томаса Кромвеля не поколебали его убеждений. Злосчастье таилось не в этих хвастливых, но верных речах. Он глубоко проник в капризную, неблагоприятную, искаженную эгоиз-

мом натуру людей. В этом знании было всё горе, была вся мука его. Во всю свою жизнь он наталкивался на каждом шагу на дьявольское могущество власти, денег, земель и домов. Одна мысль о них, одно желание иметь как можно больше, не зная предела, приводило в бешенство даже порядочных, даже разумных, даже владевших, казалось, несчетными знаниями. Никто не спасался от их двусмысленной, опьяняющей власти. Эта власть неуклонно, невидимо разъедала совесть и честь, как зеленая тля на зеленом листе, до тех пор, пока от чести и совести оставалось только названье, одни пустые слова, ибо власть человека над человеком, деньги, земли, дома ценились выше достоинства, выше ума. От них исходила необоримая, капитальная, чародейская сила. Они доставляли блага, почести, спокойствие и радости жизни. По их количествам и размерам отмерялись уважение и почет. Они возвеличивали. Они возносили. Они пенс за пенсом, гектар за гектаром, метр за метром, точно камень за камнем, строили вокруг человека незримые стены, становясь всё неодолимей, всё уютней, теплей и дороже. Они представлялись стенами храма, в котором человек был хозяин и сам себе бог. Сквозь эти стены проступали всего лишь тени других, тех, кто владел меньшим количеством власти, денег, земель и домов, и это были ничтожные и враждебные тени, достойные только презрения, зависти или уничтожения, так что, глядя на них, человек становился собственным монументом, которому поклонялся, который украшал всем, чем мог.

Так беспредельно, ненасытно рос эгоизм, и наконец ради власти, денег, земель и домов человек позволял себе всё, так что в его глазах становились смешны добродетели, если никто не платит за них, а пороки приносят вознаграждение. Так ложился ещё один камень в незримую стену вожденного храма, в котором прощали себе всякий грех, включая и преступление. Уже никто не мог видеть себя виноватым, если имел власть, деньги, земли, дома. Так отмирала, терялась способность судить себя самого по законам Христа, осуждать за грехи, становиться лучше и чище, ибо в собственности растворялось представление о пороке, а нравственностью становилась безнравственность.

Возведенный храм превращался в тюрьму. В тюрьму духа и мысли. В тюрьму для братской, истинно христианской любви. Жизнь обращалась в одиночное заточение, где никто не существовал для другого, как завещал человеку Христос. Очень трудно бывало в этой невольной тюрьме. Злоба овладевала, тоска. Враги со всех сторон обступали её, желая отобрать, желая присвоить себе. Но уже прикован был к этой тюрьме человек цепями корысти и уходит по своей воли из тюрьмы не хотел. Унижения. Зависть. Обиды. Страдания. Кровь.

А ему представлялось, как только в нем пробудилось сознание, что выбраться из этой тюрьмы легко и возможно. Легко и возможно устроить иначе. Уничтожьте собственность и сообща владейте имуществом. Перестаньте весь мир делить на мое и твое. Восстаньте людьми, какими их видел Христос. С чуткой совестью. С рыцарской честью. С благородством души. С любовью к ближнему. С милосердием ко всем, кто живет на земле.

Тогда падет добровольное заточение, где вы страдаете от страха, от зависти, от вражды. Вы перестанете пить кровь того, кто мало имеет, и проливать кровь того, кто имеет больше, чем вы. Порок перестанет соблазнять и манить. Не станет нужды воровать и обманывать, ибо без денег, без владения землей и домами не украдешь, краденое не сбудешь, не станешь убивать, чтобы владеть. В душах умрет презрение к ближнему, ибо презирают лишь тех, у кого не имеется ни денег, ни земель, ни домов, а ненавидят лишь тех, кто вознесся выше тебя, и нельзя не любить и ближних и дальних, если все равны и все братья между собой.

Так очевидно. Так просто. Понять эту истину может любой. Нужна только ясная, чистая вера в Христа.

И верил в Христа. Он жил так, как заповедал Христос. Он пример подавал. Он не спешил. Он понемногу очищал веру в Христа, запачканную жаждой богатства даже у тех, кто молился Ему и проповедовал и проповедовал веру в Него. Он мешал тем, кто, как Кромвель, хотел отобрать и на месте неравенства, жестокости и вражды воздвигнуть новое неравенство,

новую жестокость и новую ненависть и вражду. И за это ждала его смерть. Он никого не винил. Он не проклинал тех, кто приговорил его к смерти. Но он продолжал удивляться, отчего его мысль о равенстве и братской любви, которая прямо вытекает из заповедей Христа, не находит отклика в сердцах христиан, почему она всем, кто клянется, что верит в Христа, и действительно верит в Христа, представляется нелепой и дикой. Они клянутся, что верят в Христа, и действительно верят в Христа и топчут друг друга, лишают ближнего чести и хлеба, сеют разрушение и смерть, живут в страхе друг перед другом и продолжают мечтать о собственном доме, о собственной власти, о собственных доходах и землях, о собственном благополучии, которое всегда оборачивается неблагополучием для других. Только о себе, о своем, когда все мы братья, все мы равны во Христе. Он никого не винил. Не проповедовал кровь и насилие. Они были слепы. Ему надлежало их вразумить. Он не смог, не успел. И потому им на погибель призывается Кромвель. Ему придется уйти. Он себя не жалел. Он страдал, что его мысль о благоразумной, добропорядочной, глубоко нравственной жизни без денег, без собственности, без презренного «мое» и «твое», может быть, будет забыта людьми. Надолго забыта. Он все-таки верил, что забыта не навсегда.

И Томас Мор впервые с ненавистью взглянул на Томаса Кромвеля. Его глаза кололи, как иглы. Зубы стиснулись. Напряглись кулаки. Отвращение сменялось бессмысленным бешенством. Кромвель опомнился и умолк. Быть может, ощутил на себе его взгляд. Быть может, вдруг вспомнил, что за этими стенами его ожидали дела: ещё не всё отобрал и украл, не всех перевешал, под топор палача отправил не всех. Томас Мор шагнул, точно мертвая тишина внезапно толкнула его. Томас Кромвель оправил волосы, приладил берет и презрительно бросил от самых дверей:

– Дозавтра, мастер. Надеюсь, вы не уступите королю.

Он ответил почти машинально:

– Прощай и будь готов к скорой встрече со мной.

Томас Кромвель больше ничего не сказал. Только взвизгнула дверь и простучали, удаляясь, шаги.

Глава третья

Аббатство

Генрих шел тяжелой походкой тучного человека. Он свернул на женскую половину, чтобы выйти из дворца незаметно. На нем была одежда простого солдата. Вдруг дверь открылась и женская рука в чем-то розовом схватила его и втащила к себе. Фрейлина Анны прильнула к нему и подставила жадные губы. Он поцеловал их несколько раз с наслаждением, но отстранил её и сказал:

– Потом. Я спешу.

Он свернул ещё несколько раз и вышел на задний двор через малоприметную дверь. Под старым дубом слуга держал под уздцы его жеребца. Жеребец был сытый, золотисто-коричневый, крупный, с черной гривой и черным хвостом, с крепкими ногами и широким задом. Слуга подержал кованое, высоко подвязанное стремя и помог ему вставить сапог. Генрих тяжело поднялся в седло. Жеребец повернулся к нему, сверкнул злыми глазами, попытался взбрыкнуть и сбросить его, но не смог: король был слишком тяжел и для него. Генриху нравился его нор. Он засмеялся и тронул повод. Жеребец взял с места рысью. За ним из тени вышел конвой на гнедых лошадях, всего пять человек вместо шести. Генрих ехал за старшего.

Они выбрались из королевского парка дальней калиткой, проскакали узкой тропинкой и пошли крупной рысью проезжей дорогой. Издали можно было подумать, что это обычная стража.

Генрих любил такие прогулки. Отец посадил его на коня, когда ему было пять лет, как в этом же возрасте посадил отца дядя. Он освоился сразу, точно родился верхом. Его не пришлось поощрять. Он поскакал за отцом, легко догнал и стал его догонять. Отец шурился, улыбался и сказал несколько раз, что он молодец.

Это было счастливое время. С возрастом он всё реже видел отца. Наследником был Артур, его старший брат, болезненный мальчик. Он должен был стать королем. Отец редко отпускал его от себя и рано стал посвящать в дела королевства. Генриху предназначалась иная судьба. Он должен был стать богословом. Ему предстояло сделать карьеру архиепископа и кардинала и стать помощником брата. Отец сдал его на руки учителям и предоставил свободу.

Он оставался верен своим французским пристрастиям и подобрал учителей, преданных новым течениям, идущим из Франции, проникшим туда из Италии. Первым и главным учителем был Вильям Блаунт, четвертый лорд Маунтджой, старше его лет на двенадцать-тринадцать, почти ровесник его, и они очень скоро стали друзьями.

Лорд Маунтджой был учеником Эразма из Роттердама, верным и страстным. Он состоял с учителем в дружеской переписке и очень скоро через него познакомился с лучшими умами Европы. Он решил, по их совету и наущению, воспитать Генриха, как уже было принято воспитывать принцев во Франции и в Италии. Под его руководством ему предстояло стать свободомыслящим и всесторонне образованным человеком, и он стал им.

Разумеется, прежде всего он должен был говорить по-латыни, ведь ему предстояло общаться с отцами церкви и с самим римским папой, от которого когда-нибудь он должен был получить кардинальскую шапку. Он без труда овладел классическим языком и полюбил римских писателей, в особенности Вергилия и Цицерона, а его настольной книгой стали жизнеописания римских цезарей, которым он хотел подражать.

Учитель был им доволен и нередко его наставлял:

– Время досуга проводи недосужно.

И:

– Хотя бы то время, которое оставляют тебе другие заботы и необходимые для жизни дела, с великой пользой присвой и употреби на то, в чем способна раскрыться твоя одаренность. Нет ничего более пригодного и подходящего для приобретения благонравия и добродетелей, чем усердное чтение древних писателей.

Сам учитель в свободное время читал и переводил и ему не оставлял минуты на праздность. Его обучали игре на лютне и на спинете. Ему прививали истинную страсть к физическим упражнениям. Благодаря этому он быстро превращался в мужчину, выносливого и крепкого, стал прекрасным кавалеристом, стрелком из лука и одним из лучших игроков в мяч.

После латыни ему не составляло большого труда изучить языки ближайших соседей, без которых тоже обойтись было нельзя: французский, испанский и итальянский.

Затем ему надлежало с должным тщанием изучить богословие, хотя в его время это уже было не обязательно, ведь архиепископами и кардиналами становились вполне светские люди знатных фамилий, благодаря родственным связям или за деньги, не говорившие по-латыни, не читавшие даже Евангелия.

Лорд Майнтджой осуждал этот новый обычай. Он почитал своим долгом сделать из своего ученика будущее светило католической церкви. Понятно, что к старому богословию, в основе которого лежала схоластика, ученик Эразма относился с презрением. Он был сторонником и другом новых, либеральных ученых, которые уже появились в Европе и в Англии.

Они работали в Оксфорде. Все они были учениками Эразма. Джон Колет, по общему мнению, был их главой. Вокруг него собирались передовые умы. Среди них, безусловно, первое место принадлежало Томасу Мору. К этим двоим присоединились Джон Фишер, епископ Уорхэм и Крэнмер.

Джон Колет был человеком богатым и набожным. Он был посвящен в духовное звание и отправился в Рим, надеясь укрепить свою веру в самом источнике веры, но жестоко ошибся. Его добрые чувства были оскорблены. Родриго Борджиа стал папой под именем Александра Шестого, подкупив большинство кардиналов. Своих противников он устранял кинжалом и ядом, присваивал имущество многих богатых и знатных, а церковные должности продавал, как торговка на рынке. Из отвращения к разврату первосвященника Колет отправился во Флоренцию, где проповедовал Джироламо Савонарола, желавший возрождения поруганной церкви и добродетели. Во Флоренции он изучал греческий язык и греческую литературу, находя, что это новое знание позволяет яснее и глубже проникать в каждое слово Спасителя. Он привез в Англию идею возрождения церкви и некоторые сочинения новейших итальянских ученых, которые писали на обновленной латыни, найденной ими у Цицерона. Он приступил к толкованию Посланий апостола Павла, так, как будто знакомился с ними впервые, не считая нужным заглядывать в труды богословов. Каждый верующий должен укреплять свою веру чтением Библии, а не её толкователей:

– Придерживайтесь Евангелия и Посланий апостолов, а диспуты предоставьте вести богословам между собой.

Ему и в голову не приходило относиться критически к вероисповеданию. Как и его друзья, он был убежден, что в фундаменте веры нельзя тронуть даже песчинку. Его приводило в негодование нравственное ничтожество духовенства. Он просил Иисуса Христа омыть не только ноги, но и руки и главу Его церкви. Он обрушивался на корыстолюбие, невежество и безделье. Ему возражали, что и апостол Павел принимал добровольные даяния для пострадавших от голода в Иудее. Он подчеркивал, что это были добровольные приношения, тогда как современное духовенство вымогает плату чуть не за каждое слово, произнесенное в храме, и прибегает к насилию, собирая церковную десятину. Он напоминал, что как раз апостол Павел советовал Тимофею убеждать сребролюбия и преуспевать в правде, благочестии, терпении, кротости и любви, о чем современное духовенство как будто забыло. Он ставил на вид, что апостол работал своими руками, чтобы не давать повода обвинению в корыстолюбии и не вводить

ближних в соблазн. А что современное духовенство? Оно не только вводит в соблазн. Оно предается спорам и пререканиям о мирских делах и своих выгодах. В его среде немало прелатов, которые не страшатся приступить к алтарю прямо из объятий блудницы. Даже в епископском сане немало таких, которые пребывают в крайнем невежестве. И слишком многие ставят себе главной заслугой и целью защищать мирские права и громадные владения церкви. Он говорил так ясно и просто, что толпы слушателей стекались к нему, и не было в Лондоне доктора богословия или прелата, который хотя бы раз не послушал его, хотя он не имел и не добивался иметь ученые степени.

Его ближайшим сподвижником стал Томас Мор. Он прочитал сочинения Пико делла Мирандолы, изданные в Болонье и привезенные в Англию Колетом, и был изумлен глубиной учености и благочестия неизвестного итальянца. С энтузиазмом бросился он изучать его достойную подражания жизнь и переводить его сочинения на английский язык. Он выпустил в свет его биографию и «Двенадцать правил Джона Пико графа Мирандолы» и дополнил их своими суждениями «Двенадцать орудий духовной битвы, которые каждый должен иметь в руках, когда на ум приходит греховный соблазн наслаждения».

Оба учили, что церковь больна. Её духовные начала отчасти забыты, отчасти находятся втуне. Они погибают под гнетом роскоши, расточительства и разврата, которому бесстыдно предаются высшие церковные власти, начиная с самого римского папы, кончая последним монахом, который пьянствует и распутничает в своей келье не только с женщинами, но и с мужчинами. Оба проповедовали новое благочестие, в основание которого должна быть положена высокая нравственность первоначального христианства.

Им в помощь лорд Маунтджой вызвал Эразма, который скитался бездомным странником из города в город, хотя ему уже перевалило за тридцать. Он увидел человека чуть ли не крохотного и хилого, с бледной, болезненной кожей, с блеклыми тонкими волосами, с острым носом на птичьем лице. Человеку всегда и везде было холодно, несмотря на плотную полумонашескую одежду, отороченную дорогим мехом. Маленькие глазки глядели сонливо и почти всегда были полуприкрыты, точно Эразм скрывал от всех свои мысли. Голос его был так слаб, что пропадал на открытом пространстве, казалось, от дуновения ветра. Болезни со всех сторон осаждали его. Он был рожден для безделья, для лени, для вечного отдыха под жарким солнцем на берегу теплого моря или для бесконечных страданий в больничной палате. Было невероятно поверить, что в этом хилом теле таится неистощимый, вечно стремящийся к истине дух. Эразм спал четыре часа. Остальные двадцать часов проходили в неустанном труде. Он либо читал, либо писал, либо беседовал. Читал и писал в любом месте, даже когда ехал верхом. Его познания были необозримы. Казалось, он прочитал все книги или памфлеты, познакомился со всеми изобретениями и открытиями, написал письма всем образованным людям Европы, получил от них письма и ответил на них. Он всё осмыслил и понял. Он всё изложил так красиво и ясно, что нельзя было не зачитываться, нельзя было не заслушиваться тем, что он пишет и говорит. В Англии этот вечный бродяга внезапно попал в общество близких по духу людей. Его друзьями стали Колет и Мор. Он признавался своим слабым голосом:

– Ещё нигде мне не было так хорошо. У вас климат здоровый, приятный. У вас культура и ученость лишены педантизма. Образованность, как греческая, так и латинская, безукоризненна. Я почти перестал стремиться в Италию, хотя там, говорят, имеются вещи, которые бы следовало увидеть своими глазами. Когда я слушаю моего друга Колета, мне представляется, будто я слышу Платона. Я более чем уверен, что природа никогда не рождала более добрую, более нежную и счастливую душу, чем Томас Мор.

Эразма поразили толкования Колета и навели на мысль обновить и выверить перевод Библии, в котором обнаруживались чудовищные ошибки. Он пришел в восхищение от «Двенадцати орудий духовной битвы, которые каждый должен иметь в руках, когда на ум приходит греховный соблазн наслаждения», и не только задумал, но и начал писать свое «Оружие

христианского воина». Этим людей связало единомыслие. К ним присоединились Уоргем и Фишер. Они поставили себе целью своими проповедями, своими трудами очистить человеческий ум от схоластики, а церковь от распущенности и алчности накопительства. Они утверждали новую нравственность, которая была бы основана на любви к Богу и к ближнему. Они мечтали соединить всё человечество в одно единое общество, в котором должны бы были торжествовать братская любовь и веротерпимость.

В этом кружке Генрих изучал богословие и полюбил наслаждения ума, почти так же, как наслаждения тела. Он был благодарен им за те знания, которые от них получил, и за тепло, с которым они к нему относились, возлагая на него большие надежды. Он предложил Эразму кафедру профессора в Кембридже, перевел Колета старшим проповедником при соборе святого Павла, а Томаса Мора назначил помощником лондонского шерифа. Он намеревался править справедливо и весело. Балы, маскарады, турниры следовали один за другим. Придворные лорды скоро стали осыпать его жалобами, что несут непосильные траты на покупку бархата, бриллиантов, золотых украшений и породистых лошадей. Что ж, он не скупился. Отец оставил ему два миллиона. Его по праву считали самым богатым монархом Европы. Ему ничего не стоило выдавать своим придворным пожалованья и делать дорогие подарки. Они благодарили с глубоким поклоном и любили его. Деньги текли, но он их не жалел. Потом случилась небольшая война. Он вдруг обнаружил, что казна его почти опустела. Он вызвал старого казначея, который служил при отце, и спросил, каким образом тогда наполнялась казна. Старый казначей не нашел нужным скрывать, что меры принимались сомнительные или прямо бесчестные. Именья изменников были конфискованы в первый же год его восшествия на престол. Права отца, как известно, были довольно сомнительны, и против него было устроено несколько заговоров, с намерением свергнуть его. Заговоры были раскрыты или провалились самим собой. Отец не страдал жаждой крови и обычно оставлял заговорщикам жизнь, однако принуждал её выкупать, и суммы выкупа были значительны, даже чрезмерны. Он также не обнаруживал жажды воинской славы, тем не менее время от времени объявлял, что враг не дремлет, что неизбежна война и что необходимо готовиться к ней. Парламент, отчасти в испуге, отчасти в ожидании новых приобретений, одобрял субсидии на войну. Война могла быть, а могла и не быть, но субсидии собирались неумолимо даже спустя много лет после заключения мира. Кардинал Мортон, исполнявший при отце должность канцлера, выдумал интересный закон, который стали называть вилкой Мортонна. Закон был остроумен и прост: кто много тратит, тот очень богат и потому должен платить большие налоги, а кто мало тратит, тот свои богатства скрывает, стало быть, налоги с него надо брать ещё больше. Вилка Мортонна действовала безукоризненно. Все-таки отцу её было мало. Время от времени он требовал от своих подданных добровольных пожертвований, которые были, само собой разумеется, обязательными. Однажды граф Оксфорд принял короля с необыкновенно роскошным гостеприимством. Отец улыбался, благодарил и, садясь на коня, с той же милой улыбкой уведомил графа, что его посетит королевский прокурор, возможно, на днях, и граф немедленно выложил десять тысяч фунтов стерлингов за нарушение устава о ливреях. Он обнаружил, что в смутное время междоусобиц многие города потеряли свои привилегии. Города жаловались ему, просили вернуть. Он возвращал, если города могли заплатить. В довершение его финансовый гений дошел до того, что в казначействе по его повелению обрезали золотую монету, отчего монета теряла в цене и торговые люди терпели убытки. Казначей качал седой головой и улыбался доброй улыбкой: может быть, всё это нехорошо, да ведь иначе вам не досталось бы двух миллионов.

Генриха поразили секреты отца, прежде ему не известные. Воспитанный такими людьми, как лорд Маунтджой, Колет, Мор и Эразм, он и подумать не мог, чтобы вернуться к финансовым мерам отца. Вымогать деньги у лордов? Обрезать золотую монету? Возвратиться к остроумным рассуждениям Мортонна о тех, кто тратит много или тратит мало? Нет, нет и нет. Он обратился к парламенту. Представители нации очень доступно растолковали ему, что было

бы верхом несправедливости повесить подати, поскольку масса народа и без того живет в нищете, что было бы верхом недалководности повесить пошлины на вывоз английских товаров, поскольку они подорожают и на континенте не станут их покупать, и что было бы другим верхом недалководности понизить ввозные пошлины, поскольку испанские, французские, фламандские товары станут дешевле и вытеснят с английского рынка самих англичан. Он был хорошо образован и не мог этой истины не понять. Всё было верно, а казна оставалась пустой. Все жаждали послаблений, отсрочек и привилегий. Привилегии нужны были лордам, чтобы блистать при дворе. Привилегии были нужны городам, чтобы суконщики, торговцы и финансисты не только бы не терпели убытков. Сельские хозяева тоже хлопотали о привилегиях, в противном случае, толковали они, шерсть и мясо не разойдутся на рынке. Привилегий требовали даже пираты: они хотели грабить на океанских просторах, но не хотели, чтобы их вздергивали за это на рею. И самое непостижимое обнаружилось в том, что все запаслись привилегиями, даже морские разбойники. Привилегий не было только у короля. Казна наполнялась на половину потребностей, даже на треть. О двух миллионах, которые сумел ему оставить отец, оставалось только мечтать. Король становился всё бедней и бедней, и это, похоже, очень нравилось подданных, поскольку богатый король управляет страной, а бедным королем управляет страна.

Очень скоро он догадался, что управляют не идеи, не принципы, не убеждения, как он постоянно слышал от учителя и его ученых друзей, а деньги, что вовремя понял отец. Что же в таком случае идеи, принципы, убеждения? Их придерживаются, пока они выгодны. Их меняют, когда они приносят убытки. Отец был кругом прав, когда говорил, что у всех цель одна: стать выше всех и богаче всех. А потому и король, чтобы править благополучно и долго, должен стать всех богаче.

Ветер дул в спину и нес пыль, поднятую копытами лошадей. Пыль забивалась в ноздри. Генрих чихнул несколько раз и очнулся от своих размышлений. Дорога шла прямо. Сухая погода стояла несколько дней. Он толкнул жеребца. Жеребец недовольно оскалился, но послушно оставил дорогу, поскакал лугом и стал подниматься на холм. На лугу паслись овцы, серые, крупные, с маленькими головками и с толстой шерстью, которую, как он теперь знал, неохотно покупали в Европе. Пастух опирался на посох и, как видно, дремал. Две сторожевые собаки, одинаково черные, с белыми ожерельями на шеях и на хвостах, с злобным лаем бросились вслед. Генрих не обернулся. Солдаты конвоя придерживали своих лошадей и плетью отогнали разъяренных собак. Собаки отстали, всё ещё злобно рыча.

Генрих остановился на вершине холма. Со склона спускалась дубовая роща, сильно поредевшая с тех пор, как он видел её. За ней поднимались башни монастыря. Он тронул поводья. Жеребец двинулся, мягко ступая по густой зеленой траве. Среди дубов там и здесь торчали широкие пни. На каждом из них он мог бы посадить свой конвой. За дубовой рощей он вдруг обнаружил молодые стройные сосенки, насаженные так густо, что их пришлось объезжать. Монастырь открылся за поворотом, массивный, тяжелый, из серого камня, мрачный даже на солнце, заложенный на берегу тихой речки лет триста назад, в знак покаяния, когда король Генрих Второй вынужден был пойти на уступки римскому папе.

Генрих въехал в ворота, которые были распахнуты настежь. Въездная дорога не убиралась несколько месяцев. Боковые аллеи монастырского парка были запущены. Направо от входа стояла часовня. Её стрельчатые окна были не мыты. Прежде над входом стояла Мадонна. Теперь она была сброшена и разбита.

Монастырь охраняли солдаты, в касках с гребнями, в латах, с красными лицами и с туманом в глазах.

Генрих спешил, оставил конвой и вошел. Его шаги гулко раздавались под высокими сводами. Пол был затоптан. В глаза бросались следы запустения. Он прошел коридором, на стенах которого проступали старинные фрески. По сбитым ступеням крутой каменной лестницы,

идушей винтом, он спустился в подвал. Подвал был мрачен. Вдоль стены от дверей пылало несколько факелов. В глубине в их трепещущем свете проступали громадные винные бочки, каждая на пятьсот ведер, может быть больше. На передней балке был блок. С него спускалась веревка. На веревке был подвешен аббат, старый, толстый, обнаженный по пояс. Помощник Томаса Кромвеля, присланный вести следствие, сидел за столом и что-то писал при свете толстой восковой монастырской свечи. Генрих сел на скамью у стены. Следователь вскочил и, забыв о приветствии, громко сказал:

– Упорствует. Не выдает.

Аббат висел низко. Руки были вывернуты назад. Босые почернелые ноги почти касались грязного пола. Голова свесилась. Тройной подбородок складками лежал на жирной груди. Лицо было усталым, но всё ещё круглым.

Генрих спросил:

– Хорошее вино?

Аббат разлепил пересохшие губы и чуть слышно сказал:

– Нравится... солдатам... твоим...

– Испанское или французское.

– Французское.

– Прекрасный вкус.

– Для причастия... паломников... прихожан...

– Им оно обходится раз в двадцать дороже. Отличный доход.

– Братии на воду и хлеб.

– И с волоса святого Петра?

– И с него.

– Боже мой, сколько же у бедняги было волос! Если не каждый монастырь кормится его волосами, то каждый второй.

– Он был святой.

– И кусочек креста, на котором распяли Христа? Я думаю, это не крест, а целая дубовая роща.

– Это чудо.

– Мои учителя рассказывали мне кое-что.

– Плохие учителя... еретики...

– И твоя икона излечивает больных?

– Не всегда.

– Только когда тебе надо?

– Бывает, чудо свершается само по себе.

– Тоже немалый доход.

– Монастырь обходится дорого.

– И потому тебе платят за всё: за погребения, за крестины, за свадьбы, за исповедь.

– Платят они добровольно.

– Не совсем, ведь без благословения нельзя ни хоронить, ни родить, ни жениться.

– На то воля Господа... не моя...

– А дубы?

– Какие дубы?

– Роща твоя поредела.

– Много строится кораблей.

– Где же ты прячешь деньги?

– У меня ничего нет.

– Да, ты беден, как крыса. У братии общее всё. Об этом я тоже слышал.

– Так заповедал Христос.

– Где же казна?

– Она не моя и не твоя.

– Ты прав, она не твоя. Но почему не моя?

– Она монастырская, общая. Была здесь и останется здесь. Я могу висеть, пока не умру.

Генрих сказал:

– Опустите его.

Подручный дернул конец, распустил узел и осторожно ослабил веревку, пока ноги аббата не коснулись каменных плит и снова её закрепил, чтобы аббат мог стоять. Генрих сказал:

– Теперь не висишь. Где же казна?

Аббат потянулся, расправляя застывшее тело, скривился от боли и промолчал, как будто не мог говорить.

Генрих внимательно посмотрел на него и приказал:

– Дайте вина.

Следователь вскочил, нацедил полную кружку и протянул её королю. Генрих поморщился:

– Не мне, а ему.

Аббат сделал несколько жадных глотков и остановился, видимо, не желая пьянеть. Генрих с одобрением посмотрел на него:

– Теперь говори.

Аббат облизнул влажные губы, вздохнул глубоко и уже ясным голосом возразил:

– Не скажу.

– Почему?

– Деньги братии. Ты не имеешь права на них.

– Я король.

– Платить тебе я не обязан.

– Ведь ты платишь римскому папе.

– Он глава церкви.

– Меня признал главой церкви парламент.

– Парламент мне не указ.

– Не король. Не парламент. Кто же тогда?

– Папа и епископ, назначенный им, но не ты.

– Однако, ты подданный английского короля!

– Нет, я подданный римского папы! Только его! Никому другому я не обязан служить!

– А Господу?

– И Господу тоже.

Генрих сделал повелительный жест:

– Поднимите его.

Подручный схватил веревку, резко дернул её. Аббата точно подбросило вверх, но не высоко. Почерневшие пальцы ног слегка касались каменных плит.

– Довольно. Ты выводил меня из терпения. Где твои деньги?

Аббат кривился от боли в вывихнутых руках, но молчал.

– Где твои деньги?

– У меня нет ничего.

Генрих махнул, и аббата подняли выше.

– Где твои деньги?

Из расширенных глаз аббата выкатились две слезы.

– Где твои деньги?

Молчание выводило Генриха из себя. Он вскочил на ноги и закричал:

– Хорошо! Я уйду! Он возьмет паклю, вымочит в масле, положит на темя тебе и подожжет. Так вы пытаете еретиков. Посмотрим, понравится ли это тебе.

Лицо аббата исказилось от ужаса. Он прохрипел:

– Хорошо. Я скажу.

– Опустите его. Говори.

– В моей келье... Фреска на задней стене... Рожденье Христа... Справ из ясель на Спасителя смотрит бычок... Нажмите на рог...

Следователь вскочил и крикнул солдат. По ступеням лестницы застучали их сапоги.

Генрих презрительно усмехнулся:

– Вот видишь, как это просто. Из чего было мучить себя. В самом деле, служи Господу, а не золотому тельцу.

Он медленно поднялся по лестнице, прошел коридором и вышел во двор. Солнце сияло. Шумели старые липы. Было тепло и легко. Он сел на скамью и сидел неподвижно, не думая ни о чем. Только сердце неровно билось в груди. Так прошло с полчаса. Следователь вышел и доложил:

– Золота в слитках и утвари на глаз фунтов до ста. Серебро, тоже на глаз, фунтов четырехста или пятьсот. Алмазы, изумруды, опалы надо считать.

Генрих поднялся, тяжело и неловко:

– Считайте...

Пошел к жеребцу, стоявшему у коновязи. Сам отвязал повод. Сам поднялся в седло. Пробормотал:

– Господу служит... Терпеть не могу...

Ссутулился и толкнул жеребца. За ним потянулся конвой.

Они выехали из монастырского парка, миновали сосновый лесок и въехали в дубовую рощу. Под старым дубом стоял спокойно и стройно олень. Здесь право охоты принадлежало монахам. Монахи охотились редко, и всадники не испугали оленя.

Генрих оживился, обернулся, вытянул правую руку. Начальник конвоя дал шпоры коню, подскочил, подал, зная привычки своего повелителя, лук и стрелу. Генрих быстро и ловко натянул тетиву. Стрела коротко свистнула. Олень вздрогнул, пал на колени и медленно завалился на бок. Генрих точно проснулся, поглядел на него с сожалением и поскакал.

Глава четвертая

Выбор

Томас Мор опустился на корточки и прислонился к стене, изнеможенный, истощенный душой. Он цепенел, обмирал, ничего не видел перед собой. Пламя факела, забытого Кромвелем, почти не достигало его. По застылому худому лицу бродили бледные отсветы. Оно было сосредоточенным и угрюмым. Глаза не мигая глядели перед собой в черноту. Чернота расплывалась, медленно двигалась, точно кружилась, покрывая все предметы вокруг то распадавшейся, то непроницаемой пеленой. Временами он вдруг выходил из тупого оцепенения, вспоминая о том, что ещё не ушел, что, покуда он жив, для Томаса Кромвеля не будет простора. Ради этого было необходимо остаться, и оправданной представлялась любая цена. Тогда глаза его испуганно расширялись, что-то различая в прорехи распадавшейся пелены, рот удивленно, расслабленно раскрывался, часто и со свистом втягивая в себя промозглый, точно негнувшийся воздух.

Так вздыхал он несколько раз и вдруг принимался думать о том, что Томас Кромвель послан был королем, иначе быть не могло, а если так было, он ещё успел бы попросить о помиловании. Рано ликовал Томас Кромвель, хладнокровный убийца: он бы остался, он бы что-нибудь сделал, чтобы остановить новую кровь и новый разбой. Но если он попросит помилования, он станет себя презирать, ему будет нечем и не за чем жить. И вновь глаза упирались в непроглядную черноту, губы плотно сжимались, грубо проваливаясь в углах, выражая то ли бессилие духа, то ли презрение ко всему.

И вдруг он усмехался брезгливо, нехорошо, подумав о том, что нужна, ещё, должно быть, нужна его жизнь.

Для чего?

И вновь хватал склизлый негнувшийся воздух распахнутым ртом.

Так сидел он на корточках, опираясь привычно на пятки, как сживал часто, погружаясь в раздумье. Когда же ноги его затекали, он шевелился бездумно, тоже привычно, вытягивал их, не ощущая удовольствия затихающей боли, и опускался на каменный пол, запрокинув голову, прижимаясь затылком к стене. Мерзким холодом тянуло от каменных плит. Сыростью стены постепенно набухала одежда, потерявшая форму от долгого заточения.

Да, в этом было всё дело: испросив милость у короля, он бы сохранил только жизнь тела, но стал бы предателем себя самого, подлецом и по этой причине таким же слабым, таким же податливым и бессильным, как все, кто давно уже предал и продал себя. Он был бы унижен и презрен. Он презирал бы себя. Какой соблазнительный был бы пример... Очищение церкви? Истинно христианское благочестие? Мечтанья о равенстве, о братской, истинно христианской любви? Всё тогда было бы вздор...

Факел вдруг зашипел, задергалось, пышно чадя, потемневшее пламя, точно предупреждая его, и внезапно исчезло совсем. Остался тлеть один уголек, да и тот истощился и скоро угас.

Томас Мор сидел в полутьме. Светлое июльское утро искоса заглядывало в окно, глубоко сидевшее в толще крепости, приспособленной под тюрьму. Его ноги застыли. По телу пробегала зябкая дрожь. Ему следовало встать и согреться ходьбой, но он подумал об этом лишь вскользь и тотчас об этом забыл.

Жить презренным он не хотел. Лучше было сидеть неподвижно, замерзнуть, застыть. Он сжался в комок, обхватив руками колени, а мысли его полетели туда, где уже не было и быть не могло ничего.

Наконец он очнулся, не сразу поняв, что с ним стряслось, где он был, какое время отсутствовал или думал о чем. Он недоверчиво оглядывал близкие стены и сгустившийся мрак по углам.

Ему смутно припомнилось явление Томаса Кромвеля, или оно привиделось только ему, и в этом сне он слышал какие-то крики, какие-то угрозы и пошлое хвастовство.

Вдруг с новой силой вспыхнули слова приговора.

Только день, только ночь оставляли ему.

Завтра ждала его смерть.

Может быть, при мысли о ней он и впал в забытие?

Тут он по-настоящему испугался, решив, что именно подлый страх смерти довел его до беспамятства.

Если так, выходило, что он сомневался в себе, что он не был готов.

Не двинувшись с места, он медленно поднял ослабевшую руку и дернул, как мог, свою отросшую длинную бороду.

Прежде у него не было никакой бороды. Она отросла у него в заточении. Он к ней привыкнуть не мог. Она мешала ему. Он частенько дергал её, точно хотел оторвать. Это сделалось его новой, тюремной привычкой.

Именно сомнение было в эти неуместно, опасно, запрещено. Своей неопределенностью, ещё больше своей неожиданностью оно смущало, запутывало его.

Он никогда ничего не боялся. Смерть пугала его всего меньше. Слишком давно приучил он себя к мысли о ней, и она представлялась ему продолжением жизни, как должен верит христианин и мудрец.

Его решения всегда бывали обдуманно, тверды. О своих делах и поступках он никогда не жалел.

Ещё час назад его судьба представлялась решенной и ясной.

Почему же он вдруг всколебался?

Он дивился себе. Он возмущался собой. Ибо мысль дана человеку, чтобы проникать в суть вещей и предвидеть движенье событий. Слабость же мысли, неуменье предвидеть унижала его.

Его возмущение было сильным и гневным, когда бывало всегда, хотя его лицо оставалось невозмутимым. Он пощипывал жидкую бороду и едва слышным шепотом говорил сам себе:

– Я знаю тебе много лет и уверен, что ты уйдешь, как подобает уходить человеку. В порядке вещей, что тебе не хочется уходить: в тебе ещё так силен голос живого, и от этого голоса не избавишься, пока жив, как ни старайся взять себя в руки, что себе ни тверди. Однако в свой час ты одолеешь его усилием воли и покинешь без сожаления эту юдоль печали. Жизнь не стоит того, чтобы ей дорожить.

Он не помнил, с каких пор приучился рассуждать сам с собой, оставаясь один. Привычка сложилась давно. Возможно, он с ней родился. Всё могло быть. Хорошо, что она была у него: рассуждая с собой, он смирял и утихомиривал страсти.

Он невольно прислушивался к своему тихому шелестящему голосу, заставляя себя следить за развитием мысли, и порядок устанавливался в его рассуждениях, как учили философы древних времен. Одно заключение по незыблемым правилам Аристотеля, усвоенным с самого детства, необходимо рождало другое. Эта последовательность убеждала и успокаивала его, подчиняя рассудку вскипевшие страсти.

Напомнив себе, что жизнь не стоит того, чтобы выть собакой от страха её потерять и позорно хвататься дрожащими пальцами за топор палача, он уже без труда заключил, что решения его неизменны.

Это был испытанный, славный прием. Возмущение в нем остывало. Он мог бы совсем успокоиться, ведь ему предстояли кое-какие будничные дела, которые необходимо было исполнить, перед тем, как уйти навсегда.

Он напомнил себе ещё раз:

– Разнообразны вкусы людей, капризны характеры, природа их в высшей степени неблагодарна, а суждения доходят до полной нелепости. Вот почему счастливее, по-видимому, чувствуют себя те, кто приятно и весело живет в свое удовольствие, нежели те, кто терзает себя заботой о ближних.

И уже хладнокровно стал думать о том, как приготовить тело свое, чтобы оно в пристойном виде поступило в равнодушные руки могильщиков, которые не станут заботиться о его чистоте: им всё едино, лишь бы поскорее сбить его с рук.

Он пожалел, что не может омыться в лохани с горячей водой, с мочалом и мылом. Даже чистой одежды не имелось у него под рукой.

Как он ни поворачивал, как ни вертел, а всё выходило, что хлопот с бранным телом не мог быть никаких.

Что ж, всё быстро убежавшее время посвятит он бессмертной душе, неторопливыми размышлениями о непреходящем, о вечном, чистосердечной молитвой умиротворяя и очищая её.

Уже завтра душа его встретится с Богом.

А душа была неясна, нелегка. Ему было о чем размышлять и молиться. Тоска сомнений то упала, то вновь росла, как он ни отбрасывал их, доказывая себе, в сотый, в тысячный раз, что сомнений быть не могло, да и не ко времени, поздно уже.

Тоска рождала острое недовольство собой, хотя в недовольстве собой он не обнаруживал ни малейшего смысла.

В самом деле, и страхом смерти не сломили, не покорили его.

Чем же быть ему не довольным?

Покой души, верно, нарушило что-то иное, чем-то пока неприметным разбередило её. Вот что надо было понять. Лишь после этого чистосердечной и тихой должна стать молитва.

Не чувствуя холода, прижимаясь к влажной стене, склонив лохматую голову, он раздраженно спросил, с новой пристальностью вглядываясь в себя:

– Чего же тоскуешь ты? Чем помешал тебе Томас Кромвель? Давно уж покинул тебя, и следа от него не осталось! Так что?

Не находя разумной причины, опасаясь невольно, что это всего лишь низменный страх, ужас боли и смерти, особенно боли, которая в таком преизбытке предстояла ему. Он понимал, что если он прав, страх станет только сильнее, не справясь он тотчас же с ним, и нерешительно, смутно угадывал, что причина томления все-таки в чем-то ином.

Тогда он несколько раз повторил:

– Твоя смерть должна быть достойна тебя.

Он увидел теперь, что в этом не имелось сомнений, что иначе это и быть не могло, ибо малейшая слабость, губы дрогнут, глазом сморгнет, погубит всё то, во имя чего он шел под топор.

Это так... Это так...

Однако по-прежнему что-то словно бы опаленное, в то же время верткое, неуловимое, скользкое как будто самолюбиво или с каким-то укором ныло и ныло в душе, наконец заставив подумать, что он, всегда искренний и прямой, нынче сделался не откровенным с собой. Пальцы двинулись беспокойно, точно он ими чего-то искал. Тогда он сказал, сдвигая брови, стараясь хоть так успокоить себя:

– Этот шут опротивел тебе своим дурацким кривляньем.

Он услышал свой напряженный, неуверенный голос и понял, что это было не то, что в самом непредвиденном, странном появлении Томаса Кромвеля в его заточении, крикливо и с

таким шумом взгромождаясь на место, которое он добровольно, обдуманно освобождал, скрывалась какая-то тайна, чем, как внутренний голос шептал, опасная для него. Он припомнил, иронически ухмыльнувшись, презрительно дергая головой:

– Болтал о могуществе, шут.

И после минуты молчанья прибавил не то с угрозой, не с состраданием мудреца:

– Червь земной. Трусливый, но жадный. Тем опасный для всех. Во все времена.

И чужим властным голосом прямо спросил:

– Что в том, что ты уйдешь, как философ?

Он встрепнулся и выпрямился. Заныли косточки пальцев, стиснувших подбородок. Новый запрос, упавший в мертвую тишину, оказался определенной, ясней:

– Должен ли ты умереть, хоть философом, хоть последней собакой, если отыщется дорога к спасению?

Запрос ударил его. Лицо побледнело до колючих мурашек. Во всем его существе всплеснулись неизжитые силы, которых бы стало на много лет для жизни и для борьбы, если бы открылась возможность жить и бороться. Здоровье, источник энергии, ещё не было подорвано. Мозг работал великолепно, как прежде.

Всё в нем возмущенно заклокотало, и голос, дрожа, едва поспевал вопрошать:

– К чему упрямство? Скажи мне, к чему?!

Странно: он точно искал путей к отступлению, лишь бы сохранить себе жизнь, что было противно его убеждениям. Но тотчас ободрился, точно помолодел на несколько лет. Тоска отодвинулась в сторону, почти забывшись совсем, хотя прилегла где-то рядом. Посветлело в душе. Крепкая память выплеснула знакомые мысли. Голос сделался раздумчивой и ясней:

– Трасея говаривал: «Лучше казнь сегодня, чем изгнание завтра». Что же Руф ему на это сказал? А Руф сказал: «Если ты выбираешь это как более тяжелое, что за глупый выбор? А если как более легкое, кто дал такое право тебе? Не хочешь ли ты приучать себя довольствоваться тем, что есть?»

Он выпрямился, оторвавшись усталой спиной от холодной стены, подобрался и глаза его вспыхнули быстрым огнем.

Тоска в тот же миг провалилась куда-то. Сомнения сгнули. Твердость затеплилась от поучения древнего мудреца. Полетели, радостно, запрыгав, слова:

– Да! Примириться с тем, что от тебя не зависит, потому, что не определяется, не управляется слабой волей твоей! Не искать себе жизни во внешнем! И жить, ещё долго жить! Жить тихо, сосредоточенно, скромно. Дышать душистым воздухом милых полей и запахом сена, навевающим сладкую грусть. Подолгу шагать перелесками. Неторопливо возвращаться к обеду. Ещё неторопливой размышлять о непреходящем, о вечном. Подолгу беседовать с Богом. Находить счастье лишь в том, что зависит от тебя самого!

Для такой жизни он был создан природой. Именно такая скромная, такая мирная жизнь была ему по душе. Несколько раз случалось ему жизнь этой жизнью. Не подолгу, а всё же случалось. Это было самое счастливое время его. Из того милого прошлого так и пахло теплом, семейным уютом, лаской детей и светлой печалью разлуки. Губы, невидимые, непривычно скрытые волосами, раздвинулись в неловкой улыбке. Пошевелилась поросль усов. Глаза стали влажными, добрыми и большими. Отчего это? Что с ним? А уж приблизилось и замелькало перед глазами: ограда, невысокий дом на высоком холме, во все стороны луга и поля, тропинка, дорога, берег реки. Ради той жизни, мирной и скромной, он построил свой остров, на котором царили тишина и покой, жили сердечные, добрые, любимые люди. На том острове, как поудобней, чуть в стороне, стоял маленький флигель. Во флигеле помещался его кабинет. В кабинете на полках по стенам стояли бесценные книги. Рукопись покоилась на простом прямоугольном столе. Рукопись всё ещё была не окончена. Он мог бы неторопливо, обдуманно закончить её, а после неё начать и другую. Замыслы роились в его голове. Разве то не был бы

нужный, полезный, пусть для немногих читателей, труд? Учащенно дыша, протягивая руку к кому-то вперед, он почти грубо спросил:

– Разве ты не сделал для ближних, что мог? Исключительно всё? Даже больше?

Вечно жил он против своих природных влечений. Бесприютно, нехорошо. Принуждая себя, как велел ему разум, как велел ему долг. На свой остров заглядывал редко. Передохнуть день-другой. Погладить по головке детей. Улыбнуться молчаливой жене. Собраться с духом и снова уйти. Не честолюбие, не жажда богатства, не суетность власти привели его к королю. Он не выпрашивал ни денег, ни мест, ни чинов. Должность канцлера ему предложил сам король. Он это предложение принял, чтобы исполнить свой долг перед ближними, то есть перед страной.

Помнится, он воротился тогда из Камбре, усталый, но довольный собой. Он привез мир, которого король не хотел. Он улыбался, несмотря на то, что ему полагалась опала. Не мог же он этого не понимать, нарушив повеление короля. Она не страшила его, ибо он выполнил долг. Всё приключилось так неожиданно. Кардинал и прежний канцлер Уолси обвинен был в измене и получил приказ короля об отставке. Мир, заключенный в Камбре, неожиданно понравился королю. Что-то слепое, капризное, шутовское таилось, что свершалось там, в Камбре, и в Лондоне, здесь.

Высокие двери перед ним распахнулись. Его с почтением ввели в кабинет короля. Он был абсолютно спокоен, потому что не думал в тот миг о себе. Сердце не стучало ни сожалением, ни ликованием. Он думал только о том, что не имеет права использовать и эту возможность. Литература литературой, что в ней?

«Громадное большинство не знает литературы, многие презирают её. Невежда отбрасывает как грубость всё то, что невежественно не в полной мере. Полузнайки отвергают как пошлость всё то, что не изобилует стародавними истинами. Некоторым нравится только ветость, большинству – только то, о чем они думают сами. Один настолько угрюм, что не допускает шуток, другой настолько неостроумен, что не переносит острот, некоторые лишены настолько насмешливости, что боятся всякого намека на неё, как укушенный бешеной собакой страшится воды, иные до такой степени непостоянны, что сидя одобряют то, а стоя – другое. Одни сидят в трактире и судят о талантах писателей за стаканом вина, порицая с большим авторитетом всё, что им угодно, и продергивая каждого за его писание, как за волосы, а сами между тем находятся в безопасности и, как говорится в греческой поговорке, вне обстрела. Эти молодцы настолько гладки и выбриты со всех сторон, что у них нет и волоска, за который можно было бы ухватиться. Кроме того, есть люди настолько неблагодарные, что и после сильного наслаждения литературным произведением они всё же не питают никакой особой любви к автору. Этим они вполне напоминают тех невежественных гостей, которые, получив в изобилии богатый обед, наконец сытые уходят домой, не принеся никакой благодарности пригласившему их. Вот и завлекай на свое пиршество людей столь нежного вкуса, столь разнообразных настроений и, кроме того, столь памятливых и благодарных...»

Он подолгу и много размышлял о слабости литературного слова и, рожденный писать, рожденный складывать рифмы, решил служить ближним делами своими, как заповедал Христос. Натурально, он понимал, как легко воплотить в слове самый разумный, самый продуманный и неопровержимый для самого себя идеал, настолько же трудно приблизиться к нему хотя бы на шаг, обладай хоть самой неограниченной властью, а его ждала хоть и самая высокая власть, но ещё выше его был король. И потому предчувствие неудачи, неотвратимой и скорой, мешалось с надеждой, негромкой и сладкой. По правде сказать, его надежды были и всегда небольшими, а предчувствие на этот раз закрадывалось неопределенно, несмело, но было оно неприятным, тяжелым, неопровержимым ни одним из доводов разума.

Сунув руки под мышки, возбужденно шагая по кабинету на длинных, тогда ещё здоровых ногах, король выкрикнул громко:

– В этой стране всё надо переменить, черт возьми!

Предчувствие неминуемой неудачи не потускнело от этого громкого, грозного крика. Робкая надежда не стал светлей. Прежде хотелось спросить, что именно, по разумению Генриха, предстояло переменять и зачем. Очень хотелось, но он промолчал, почтительно ожидая, что Генрих сам ему всё объяснит.

Генрих внезапно остановился и пронзительно взглянул на него. Он следил, как глубокая складка затемнела между светлых рыжеватых бровей, как от раздражения или напряжения мысли вздрагивали ноздри острого носа. Волновался, не находил себе места король, но голос был уверен и быстр:

– Отныне вы становитесь моей правой рукой. Я верю, что с вами я смогу быть смелее в моих начинаниях.

Он знал давно, что Генрих решителен и умен, но переменчив, нестойк в своих начинаниях. Нынче вечером могло явиться одно повеление, а наутро иное, прямо противоположное первому. Бездна планов роилась в голове короля, может быть, самого благородного и справедливого среди других королей, его современников, то и дело Генрих что-нибудь начинал, однако препятствия встречались на каждом шагу, он останавливался на середине, в начале пути и шел в другом направлении. Сколько раз придется ему одобрять или оспаривать его планы, сколько раз сойдутся или разойдутся их мнения о пользе или вреде этих планов для ближних или для подданных, как они по-разному их называли? Отыщет ли он самые верные, убедительные слова? Станет ли король слушать его? Не обрушит ли и на него свой сокрушительный гнев, как только что обрушил его на Уолси, который умер в тюрьме?

Он размышлял, не взваливал ли на плечи себе столь тяжкий крест, под которым и самый праведный споткнется не раз? Он мог бы, разумеется, отказаться. Он бы сумел найти благодидный предлог и сохранить с Генрихом приятные отношения полуприятельства, временами близкого к дружбе, но почему-то об отказе не помышлял. Он лишь вопрошал, тревожно и часто, по силам ли ему этот крест, не раздавит ли ноша сия, ибо слаб человек, ведь и Тот, Кто всем нам пример и пример, падал не раз под крестом. Все эти мысли и чувства клубились там, в глубине, а его лицо оставалось невозмутимым, словно ничто не страшило его и не могло утратить.

Король встрепенулся, цепкими пальцами подхватил со стола государственную печать, рассмеялся, довольный, и сквозь смех с увлечением сказал:

– Вот вам власть над моим королевством. С этой минуты ничто не решится без вашего слова. Я сам без вашего совета не предприиму ничего.

Печать была небольшой, однако тяжелой, и он негромко сказал, взвешивая её на открытой ладони:

– Я должен подумать, милорд.

Генрих с горячностью вскрикнул, ткнув в его сторону укоризненным пальцем:

– Не кривите со мной! Не люблю! Убежден, что об этом вы тайно мечтали давно! Не могли не мечтать! Не в вашей натуре перо да перо! Ведь вы не Эразм! Эразм просвещает, истребляет невежество, глупость, а вы хотите людям добра. Вы мечтаете о справедливости. Одного пера для этого мало. Справедливость, добро, любовь ближнего к ближнему зависит от власти. Вот она – берите её! С вами парламент. Коммерсанты и финансисты благословляют вашу неподкупную честность. Народ верит в ваш праведный суд. Наконец, вы же знаете, Томас, я люблю вас как друга. Чего вам ещё?!

С невидимой тягостью на душе, с возбужденной надеждой, с невозмутимым лицом он тогда строго спросил, открыто глядя в рыжие глаза Генриха и короля:

– В какой мере я буду свободен, милорд?

Неопределенно прищурясь, подергивая широкую цепь, висевшую у него на широкой, жиревшей груди, с веселым лицом, король и Генрих веско, отдельно проговорил:

– Земные дела в руках Провидения, и вы станете свободны ровно настолько, насколько смогу быть свободным и я.

Тут сердце у него застучало, сильно и бодро. Ему вдруг стало легко. Откровенная радость засветилась в глазах. Он поклонился неумело, неловко и поспешно сказал:

– Тогда я согласен, милорд.

Засмеявшись беспечно, дружески ударив его по плечу, блестя задорными, меняющимися цветом на зеленый глазами, с просветленным лицом, Генрих заговорил непринужденно и звонко, как редко с кем говорил:

– Я так и думал! Я это знал! Наконец в моем королевстве съединились для доброго дела власть государя и ум мудреца! Во все времена, чему нас учит история, они шли друг против друга, во вред государству! Я размышлял, прежде чем сделать свой выбор, что было бы с Римом, если бы против великого Цезаря не выступил Цицерон? Какое величие, какое могущество ожидало империю, а вместо того – рознь, гражданские войны, вражда. Я же призвал вас для мира. Наши соединенные силы мы направим на благо Англии, против розни, против вражды!

Его невольная радость тихо тускнела от громких, уверенных, как будто заранее приготовленных слов, но Генрих выглядел таким простодушным, и не было возможности не согласиться служить ему во имя добра. Мир в государстве? За это и жизни не жаль! Он всё же решился напомнить:

– До сей поры пост лорда-канцлера занимали в Англии служители церкви, а я мирской человек. Подобаает ли мне занимать это место, милорд?

Генрих, довольно ещё молодой, рано занявший престол и давно привыкший к власти, отрезал невозмутимо:

– Если я так хочу, это место вам подobaет занять. По нынешним германским и римским делам я замечаяю, что церкви не следует вмешиваться в мирские дела. Мирские дела духовному лицу не по силам. К тому же, нынче у церкви достаточно собственных, слишком сложных, слишком запутанных дел. С другой стороны, епископ, тем более кардинал непосредственно подчиняется римскому папе, а не своему королю. Такое положение делает его независимым от моих повелений. По правде сказать, это нередко запутывает дела государства. Ибо, по моему глубокому убеждению, в наших делах должны быть целеустремленность и ясность. Единая воля. Единая власть. С единственной целью достичь этих благ я предоставляю толь почтенное и почетное место философу, как предлагает делать Платон, великий мудрец, которого оба мы почитаем. В общении с вами я обнаружил у вас трезвый, сильный и образованный ум. Я надеюсь по этой причине, что именно с вами смогу договориться легко по самым разнообразным делам управления, а вы договоритесь с парламентом. И мне плевать, что по этому поводу наговорят пустословы, клянусь головой!

Он покачал головой:

– Это место не столь уж почетно, милорд.

Полный энергии, беспокойно и часто переступая на длинных ногах, Генрих взглянул на него удивленно:

– После короля это первейшее место в стране. Его каждый мечтает занять. Ради него свершается подлость и преступление. Только свистни, набегут, как стая крыс. Захочу, станут биться друг с другом мечами, из мушкетов станут палить. Я вижу, в вас заговорила гордыня, мой друг. Прежде я этого не замечал.

Он вспыхнул и непозволительно сухо сказал:

– В моем чувстве больше смирения, чем гордыни, милорд. Будучи канцлером, легко потерять свою душу, а допустить такую потерю я не могу. Гораздо почетнее оставаться философом, каким вы признаете меня, и первым человеком в парламенте, каким меня признают представители нации. Ибо, по моему глубокому убеждению, если человек уже стал философом, и душа

его в безопасности, и этого звания у него не отнимет никто. Не так приключается со всеми другими местами, и философия учит, что чем выше то место, которого волей судьбы или своим неразумием достиг человек, тем большее падение, которое непременно наступит, так что, если не потеряешь души, рискуешь остаться без головы.

Нервно двигаясь, расхаживая по кабинету, потирая ладони рыжеватых веснушчатых рук, король подхватил, не взглянув на него:

– Вот видите, я уже прав, остановивши свой выбор на вас. Ибо никто, кроме истинного философа, принимая свой пост, не предполагает падения.

Он думал, оттого и предчувствие, что чересчур далеко заходит на этом неверном пути, возвратилось к нему. Он нахмурился и резко сказал:

– Это место я почитаю полным смертельных опасностей и тяжких трудов, и если бы не слабая надежда на вашу королевскую милость, я почел бы его столь же приятным, сколь Дамоклу приятен был меч, висевший над бедной его головой.

Вновь остановившись близко и против него, открыто глядя снова вдруг потерявшими рыжеватость глазами, Генрих чистосердечно заверил его:

– Во всяком случае, королевская милость вам обеспечена.

Он ответил довольно угрюмо:

– Только в это я и верю, милорд.

Он хотел в это верить. К тому же он был убежден, что тот, кто решился отдать свой талант и усердие на служение обществу, тот никогда не сделает этого, если не сделается советником великого и просвещенного государя и не возьмется внушать ему надлежащие честные мысли. Ибо великий государь представлялся ему источником, который изливает на свой народ поток всего хорошего и всего дурного.

Они сделались почти неразлучны. На него посыпались королевские милости. Не дорожа своим местом, всегда готовый к опале, глубоко проникая мыслью в дела, не страшась рисковать, он служил королю, но и ближним служил, сколько мог, на этом высоком посту.

Пожалуй, кое-что ему удалось.

Когда он стал лордом-канцлером, было запрещено разрушать дома свободных крестьян, если им принадлежало не менее двадцати акров земли, что предохраняло от разорения хозяйства нормальной величины. Таким хозяйствам доставало земли, чтобы обеспечить владельцу достаток, избавляя от рабской зависимости, в какую попадал арендатор, в какую попадал арендатор, которого без жалости и рассуждений сгоняли с земли, как только истек срок договора о найме, после чего арендатор неизбежно становился бездомным бродягой. Но больше всего в этом акте прельщало его, что ровно столько земли трудолюбивый владелец был в состоянии обработать самостоятельно, не прибегая к тому, чтобы нанимать батраков, так что обогащение за счет чужого труда становилось невозможным для большинства, ведь Англия была крестьянской страной.

Разумеется, он хорошо понимал, что для спокойствия и порядка подобный запрет ещё не достаточен. У многих сельских хозяев отары доходили до двадцати четырех тысяч овец. Они нуждались в обширных лугах. Такие хозяева, правдами и неправдами, нарушали запрет, по-прежнему лишая трудолюбивых крестьян их стародавних владений.

Тогда ему удалось, пользуясь тем, что вывоз шерсти во Фландрию сократился, ограничить отары двумя тысячами овец, что резко сократило размеры лугов. Запрет на разрушение крестьянских домов поневоле пришлось соблюдать. Многие землевладения были сохранены.

Оставалась беда. В Англии скопилось слишком много безземельных бродяг. Для них нигде не находилось ни работы, ни хлеба. Здоровые крепкие люди роковым образом делались нищими или бандитами, наводившими ужас на мирных поселян, зажиточных горожан и торговцев. В стане становилось всё беспокойней. Наносился громадный урон торговле и ремеслу, не говоря уж о том, что жертвами грабежа и разбоя становились тысячи невинных людей.

Он был юрист, знаток права, за что многие в Лондоне уважали его. Он знал, что преступника останавливает единственно страх наказания, что никаким снисхождением, тем более милосердием разбой не остановить. А потому он поддержал без колебаний парламентский акт, которым дозволялось просить милостыню лишь престарелым или калекам, не способным к труду. Здоровым и сильным, которые превратились в бродяг, грозило бичевание и тюрьма, при этом бродяг привязывали к тачке и били плетьюми до тех пор, пока кровь не заструится по телу, затем брали клятву возвратиться в родные места и приняться за труд.

Генрих готов был ограничиться таким наказанием, но король требовал для бродяг смертной казни.

Он доказывал Генриху, зная его доброе сердце, что смертная казнь, во-первых, слишком жестока, а во-вторых, в этом случае несправедлива, поскольку не по доброй воле полные сил землепашцы становились бродягами и часто не в их власти возвратиться к труду. По этим причинам он оспорил желание короля. Генрих с ним согласился. В парламентский акт о бродягах смертная казнь не вошла.

Пожалуй, ничего большего он не добился, но и королю в его канцлерство удавалось не всё. Он был все-таки вторым лицом, а не первым, действие большей частью не зависело от него, но он использовал любую возможность противодействия.

И противодействовал всякий раз, когда угадывал в замыслах короля ущерб свободе или имуществу англичан.

Противодействовал...

Только противодействовал...

Много ли, мало ли это?..

Глава пятая

Прием

Генрих съел цыпленка, с удовольствием обглодав каждую кость, выпил вина и приготовился к выходу. На нем был расшитый парадный камзол, свободно схваченный поясом, чтобы не слишком выдавался живот. Широкая грудь была украшена золотой цепью и орденом, без которого ему не всегда удавалось чувствовать себя королем.

Он прошел в кабинет. Не думая ни о чем, постоял у окна. Позвонил и отошел к другому окну.

За спиной едва слышно прошелестела открытая дверь. Тихий голос сказал:

– Испанский посол.

Именно испанского посла он видеть теперь не хотел и слишком громко сказал, не повернув головы:

– Пусть ждет.

Голос настаивал:

– По неотложному делу.

Неотложные дела раздражали его. Тем более раздражало его неотложное дело испанца. Он повторил:

– Я занят. Пусть ждет.

Дверь прошелестела. Он остался один.

Отец завещал ему дружбу с Испанией. Завещание было разумным. Разоренной, ослабленной Англии угрожала опасность. Она утратила те провинции, которыми несколько столетий подряд владела во Франции, однако английские короли всё ещё имели законное право на французский престол и французские короли вынуждены были от них откупаться немалыми суммами. Тем не менее Франция укреплялась, мощь её возрастала, и что бы могло помешать ей предпринять новый поход, подобный походу Вильгельма Завоевателя. И как бы Англия смогла себя защитить, одна, без союзников, без хитрой, продуманной дипломатии на континенте?

Испания как нельзя лучше подходила в союзники, позволяла вести сложную дипломатическую игру и сама по себе была безопасна. Она совсем недавно стала единой страной. Сперва Арагон и Кастилия вступили в союз, скорее семейный, чем государственный. Потом они общими силами с великим трудом завоевали Гранаду и выгнали с полуострова мавров. Но завоевание всё ещё оставалось непрочным, а личный союз двух государей, Изабеллы и Фердинанда, был под угрозой.

Когда Изабелла скончалась, ей наследовала Жанна Безумная, её дочь, супруга Филиппа Красивого, правителя Фландрии. Она, разумеется, не могла управлять. Её регентом королева назначила своего мужа Фердинанда Католика. Кастильские гранды этому воспротивились, а Фердинанд оказался слишком слаб умом и характером, чтобы сломить их сопротивление силой. Составился заговор. Гранды призвали в Кастилию Филиппа Красивого. Герцог Медина-Сидония предложил ему две тысячи всадников и пятьдесят тысяч дукатов. Едва он ступил на испанский берег в Корунье, его окружили мятежные гранды. Лишь герцог Альба и маркиз Денья остались верны законному регенту, который почел за благо удалиться к себе в Арагон. Гранды торжествовали. Они нахально возвращали себе привилегии, отобранные у них Изабеллой, собирали в свою пользу налоги и захватывали земли и замки короны. Филипп очень скоро увидел его разоренным. Расстройство всех дел, чуждый климат Испании и несчастная склонность к женскому полу нравственно и физически стремительно разрушали его. Он умер. Неурядица всё разрасталась. Совет регентства грабил Кастилию как умел. Несколько грандов устремились на захват соседних владений. Кастилии грозило ничтожество. По счастью,

несколько грандов, оттертых от власти, вновь обратились к Фердинанду Католику. Его власть была восстановлена, но серьезно ограничена теми, кто его возвратил.

Такая Испания была нестрашна ни Англии, ни Франции. В лучшем случае она могла наносить незначительные удары исподтишка. На серьезные военные действия у неё не было сил, а Фердинанд по своему характеру и не стремился к серьезной войне. Французские короли своей наглостью сами задирали его и нарушали его интересы. Они устремились в Италию. Итальянские города уже три столетия враждовали между собой и для отражения внешних нашествий были способны объединяться только на час. Перевалив Альпы, французы врывались в Ломбардию, в Тоскану, в Романью и грабили их, насколько хватало умения и рук. Они овладели Миланом и Римом, занимали Флоренцию, захватывали Неаполь.

Неаполем правили короли из Анжуйской династии. Они состояли в родстве с Фердинандом Католиком. Правда, король Арагона считал их незаконнорожденными, но он сам имел виды на это владение и потому оказывал племянникам посильную помощь, что, натурально, раздражало французов. Отношения между Францией и Испанией из натянутых то и дело становились враждебными. Это было выгодно Англии. Со своей стороны, английские короли готовы были подать Испании руку дружбы и с её помощью восстановить свое положение на французской земле.

Другим яблоком раздора являлась Наварра, затерянная в пиренейских горах, как раз между Францией и Испанией. Та и другая жаждали овладеть этим маленьким королевством. Приобретение не сулило особенной выгоды, поскольку редкое население этой горной страны занималось пастушеством и не знало ни ремесла, ни торговли, то есть самых верных источников обогащения. Тут в дело вступали принципы и королевская честь. Ни одна сторона не могла допустить, чтобы у неё под боком преобладала другая. Испанцы захватывали южную Наварру и устремлялись на северную. Французы со своей стороны захватывали северную Наварру и устремлялись на южную. Спор, понятное дело, обещал стать бесконечным.

В ход пускались не только вооруженные силы, но и брачные узы. Изабелла и Фердинанд плели интриги, чтобы женить своего сына Хуана на Катерине Наваррской, племяннице французского короля. Этот план был разрушен. Мужем Катерины стал Жан д'Альбре, вассал французского короля. Новый наваррский король попал в сложное, почти безысходное положение. Ему приходилось услужать французскому королю, чтобы сохранить свои ленные земли во Франции, и заискивать перед королем Арагона, поскольку его королевство оказалось в тисках между Арагоном, Кастилией и Басконией. Французский король его не любил и поощрял занять его трон Гастона Фуа. Со своей стороны, Фердинанд, женившийся на его сестре Жермене Фуа, не испытывал желания поддерживать совершенно потерявшего голову короля Жана. Его спасало лишь то, что французы увязли в Италии, а у Фердинанда не было сил, чтобы его раздавить.

Набеги французов переворошили Европу и разрушили папский престол. Дела церкви были забыты, заброшены. Неожиданно в каждом из пап пробудился воинственный пыл бандита и кондотьера. Цезарь Борджиа, кардинал, вместе с отцом папой Александром Шестым устраняли своих противников с помощью яда или кинжала наемных убийц, крали людей, гноили в темницах, вымогали деньги захватывали чужие владения. Папский дворец стал похож на гарем и застенок. Солдаты Борджиа, стоявшие в Риме грабили прохожих и дома горожан. По ночам на улицах Рима происходили вооруженные стычки. В окрестностях пытали огнем зажиточных крестьян, требуя указать, где они прячут сокровища. В одном из местечек они обнаружили только несколько стариков и старух и подвешивали их за руки над раскаленной жаровней. За одно неосторожное слово отрезали язык или руку.

Страшная участь постигла самого папу Александра Шестого. Однажды вечером он ужинал на открытом воздухе в гостях у одного кардинала вместе с Цезарем и другими. Спустя несколько дней все гости, кроме самого Цезаря, стали страдать лихорадкой и рвотой. Папа был при смерти. Он бредил. Ему грезилось, будто вокруг его ложа прыгает дьявол в облике обе-

зьяны. Едва он скончался, Цезарь с кинжалом в руке потребовал у казначея ключи от папской казны. Тем временем папа лежал один без папского перстня на пальце. Никто из кардиналов не пришел преклонить колена, отпустить грехи и прочесть отходную молитву. Шесть могильщиков смеясь втиснули тело в гроб, который оказался узок и мал. Погребение состоялось в храме святого Петра. Папская митра была отброшена в сторону. Гроб был покрыт старым ковром. Тем временем папская гвардия и кардинальская стража бились рядом в базилике подсвечниками и алебардами. Цезарь захватил Ватикан и приказал бить из пушек по монастырю, в котором заседала коллегия. Осада продолжалась дней двадцать, несмотря на слезные мольбы кардиналов конклава. Никто толком не знал, чего он хотел. Вероятно, этого не знал и он сам. Он внезапно удалился в Романью, а кардинал Пикколомини был избран папой, однако умер три недели спустя. Цезарь возвратился в Рим, продал Джулиано делла Ровере голоса испанских кардиналов, которые были на его стороне, и Джулиано стал папой, взяв себе имя Юлий Второй.

Он тотчас изменил Цезарю Борджиа. Цезарь был арестован, переправлен в Неаполь, а оттуда в Испанию и заперт в крепости, но бежал к королю Наварры, брату своей жены, который воевал тогда против французов, и погиб в ночной вылазке, свалившись в ров. Начав предательством, Юлий Второй уже остановиться не мог. У него был характер переменчивый и сварливый. Он ненавидел своих врагов лютой ненавистью и преследовал их с настойчивостью, достойной лучшего применения. На беду престолу и себе самому он был в душе полководцем и обладал мужеством, которое порой возвышалось до героизма, отличался неукротимым высокомерием и больше всего хлопотал о своей земной славе. Прихожане редко видели его в папской митре и на богослужении в храме святого Петра. Десять лет, которые он занимал папский престол, он провел верхом на коне, в солдатских сапогах, с мечом на боку, в кирасе и каске, окружая себя хоругвями и крестами. Он начал с того, что навел порядок в своих светских владениях, окончательно превратил Папскую область в светское государство, овладел городами и замками, которые Борджиа отняли у него, обеспечил своему семейству наследственные права на Урбино, захватил Перуджию и Болонью, которую незадолго до своей смерти успел присоединить к церковным владениям. На всем полуострове серьезное сопротивление могла оказать ему только Венеция, и разыгравшийся Юлий поклялся если не уничтожить её целиком, то на положение простой рыбацкой деревни. В ответ оскорбленные венецианцы пообещали низвести его до положения незначительного прелата.

Страсти, таким образом, разгорелись. Венеция была самой богатой и самой могущественной державой не только на полуострове. Справиться с ней было трудно. Папа сколотил против неё военный союз, в который вступили Испания, Франция и Священная Римская империя германской нации, то есть Австрия и множество мелких немецких княжеств. Без промедления к союзу присоединились Феррара, Мантуя и Урбино. Флоренция уступила Пизу, и она согласилась оставаться нейтральной. Под видом войны начались безобразия, которые просвещенные люди Европы сравнивали с нашествием варваров, хотя это было нашествие итальянцев, испанцев, французов и немцев. Пленных убивали на месте. Вырезали целые гарнизоны, если они осмеливались посягать на сопротивление римскому папе. Вешали окрестных крестьян. Часть горожан из Виченцы укрылась в ближайшей пещере и была там сожжена по приказу немецкого принца. Венеция предложила начать переговоры о мире, но ей было в этом отказано. У неё оставался единственный выход – обратиться за помощью к туркам. Только тут на папу снизошло просветление. Он ослабил Венецию и получил крепости, которые укрепили границы его государства. Полное поражение Венеции открывало дорогу в Италию и туркам, и французам, и немцам. Пусть сегодня эти последние поддерживали его, он знал, что уже завтра они станут его врагами. Он должен был их опередить и опередил. «Если бы Венеции не было, на её месте следовало бы завести другую Венецию», и он заключил с Венецией мир.

Император и французский король увидели себя одураченными и повернули оружие против него. Юлий поклялся истребить этих варваров, как он их теперь величал, бросил в Тибр

ключи от храма святого Петра и взял в руки меч святого Павла. Образовался новый союз, в который вошли Венеция и Швейцария. Папа отдал Фердинанду Католику долгожданный Неаполь и тем привлек его на свою сторону. Фердинанд вовлек в новый союз английского короля, который был женат на его дочери, пообещав ему вернуть потерянные провинции на юге Франции.

Так он был втянут в войну. Постоянной армии у Англии не было. У её королей не имелось денег на её содержание. Он набрал несколько тысяч нищих, пьянчуг и пиратов, по каким-то причинам не вышедшим в море, и был поражен, сколько в его королевстве бездельников и бездомных бродяг. Это было не войско, а сброд. Сержанты кое-как обтесали его, научили строиться и обращаться с оружием. Новоиспеченных солдат посадили на корабли. Их сильно потрепала буря в заливе. Они высадились на берег бледные и полупьяные. На них было тошно глядеть. Неизвестно, какую славу им пришлось бы снискать, доведись им участвовать в настоящей войне. По счастью, дело до неё не дошло. Он на собственном опыте познавал азы европейской политики, грабительской и склочной по природе своей. Опыт был горек. На его глазах вчерашние союзники бились между собой. Французы и немцы сосредоточились вокруг Вероны. Папа бросил против них отряды испанцев, занявших Неаполь и натравил Геную на французского короля. Его племянник захватил Модену. Венеция овладела Виченцей. Когда герцог Феррары отказался перейти на сторону папы, папа мигом обрушил на него отлучение и сам сел на коня.

Французский король попытался сражаться с ним тем же оружием. Он собрал своих епископов в Туре. Французский кардинал произнес речь, в которой указал на преступления папы. Папа был обвинен в том, что изменяет союзникам и интересам Италии, что в устах французского кардинала было несколько странно. Собрание иерархов постановило, что папа не имеет права вести войны по мирским причинам с мирскими правителями. В таком случае государя получают законное право оказать ему вооруженное сопротивление, а все отлучения их от церкви лишаются силы.

Папа ответил без промедленья и грубо. Он выгнал из Рима представителей Франции и запретил французским кардиналам покидать Рим. Интердикты и отлучения посыпались ещё более щедро. Французский король возобновил военные действия и приступил к осаде Болоньи, в которой засел папа Юлий.

Вследствие этой неразберихи король Наварры попал в трудное положение. Он не испытывал никакого желания ссориться ни с папой, ни с королями. Но ему угрожали со всех сторон, и он решил вести переговоры со всеми. Испании и Франции он обещал нейтралитет. Для верности Испания потребовала, чтобы он передал ей приграничные крепости, а Франция желала, чтобы он воевал на её стороне. Он поневоле был втянут в войну.

Его могли раздавить, навалившись с юга и с севера. Осада Болоньи отвлекла французского короля. Испанский король убедил папу Юлия, что именно Наварра виновата во всем. Папа, не заботясь об истине, отлучил всех, кого мог: отлучил короля и королеву Наварры, а также любого и каждого, кто в течение трех дней не покорится ему или возьмется за оружие против него и его союзника Фердинанда Католика. Отлученные папой обрекались на вечные муки. Заодно они лишались сана и ленных владений. Земли, крепости и города, принадлежавшие им, признавались собственностью того, кто первым их захватил.

Таким образом руки были развязаны для беспредельного грабежа. Фердинанд двинул против него герцога Альбу и английского генерала маркиза Дорсея. Он получил приказ своего короля двинуться на Байону, столицу Гиени, и оккупировать эту провинцию. Альба имел приказ своего короля прежде уничтожить Наварру.

Англичан было мало. Им пришлось подчиниться. Многочисленная союзная армия вторглась в Наварру. Она нигде не встречала сопротивления. Альба прямо двинулся на Памплону. Наваррский король вынужден был покинуть её. Горожане не хотели подвергнуться полному и

беспощадному разграблению. Они отворили ворота, выговорив себе безопасность и сохранение всех своих привилегий. Крепости сдавались одна за другой. Только одна сохранила верность своему королю, но была взята и разграблена. Ссылаясь на папскую буллу об отлучении, Фердинанд Католик принял титул наваррского короля. Во владении Жана д'Альбре оставалась только крохотная часть его королевства, которая находилась по ту сторону Пиренеев.

А что получил английский король? Английский король не получил ничего. Его солдаты возвратились без славы и без добычи, потому что львиная доля добычи досталась испанцам. Он был одурачен. Его самолюбию был нанесен жестокий удар. Он ничего не простил и хорошо запомнил этот урок. Но союза не разрывал. Он был осторожен и молод. Он ещё верил, что союзники охотно помогут ему вернуть корону французского короля. Он ждал.

Папа Юлий продолжал будоражить Италию. Казна его истощалась. Его союзники то и дело менялись. Никто из тех, кто был захвачен этой войной, не обнаруживал верности. Каждый преследовал только свой интерес. Каждый грабил всех, кого мог. Захватив Брешию, французы перебили более двадцати тысяч жителей и дочиста разграбили город. Решающее сражение произошло под Равенной. Оно началось утром в первый день Пасхи. Итальянскую кавалерию сметали французские пушки, и она отступила. Испанская пехота упорно сопротивлялась немецким копейщикам. Убитые и раненые падали с обеих сторон в громадном числе. Тогда во фланг им ударила французская кавалерия. Испанцы дрогнули, но отступили к Равенне в полном порядке. Преследовать их с отрядом кавалерии бросился Гастон Фуа, французский главнокомандующий. Его сразила ружейная пуля. Он упал. Испанцы добились его ударами копий в грудь и лицо. Ему было двадцать два года. В течение двух месяцев он взял десять городов и одержал победу в трех битвах. На поле сражения осталось не менее шестнадцати тысяч убитых. Равенна сдалась. Французы и немцы перебили всех горожан, которые попадались им под руку. Папа бежал и укрылся в замке святого Ангела. Кардиналы в панике требовали, чтобы он подписал любые условия мира. Ему хватило мужества дожидаться известий. По донесению кардинала Медичи французский король тоже находился в затруднительном положении, его лагерь раздирают раздоры, герцог Феррары отходит в свои владения, движение на Рим приостановлено, австрийский император отзывает войска, французский король остается один.

За превратностями войны он следил с ненасытным вниманием. Его послы были представлены при всех европейских дворах. Они ему служили агентами, которые были обязаны хотя бы раз в неделю сообщать ему новости. Они добросовестно исполняли эту обязанность. Он получал обстоятельные послания из Вены и Рима, из Венеции и Милана, из Мадрида, Неаполя и Парижа. Все сплетни двора, все наступления и отступления ему были известны в малейших подробностях, неделю, дней десять спустя. Его поражала и близость и легкость и недостижимость победы. Казалось, только что папа Юлий потерял всё, что успел захватить, но уже союзники покидали французского короля, папа собрал новую лигу, остаткам французских войск едва удалось перебраться на свою сторону Альп, и вся Италия была свободна от французских захватчиков.

Победа! Папа Юлий с безоглядной поспешностью раздавал племянникам и дальней родне итальянские города и не успел оглянуться, как своими раздачами восстановил против себя австрийского императора, венецианского дожа и Геную. Новая война назревала. Папа грозился обрушиться на непокорный Неаполь, уповая на то, что Бог поможет ему. Видимо, Бога утомил этот папа. Силы Юлия вдруг истощились. Он оказался на смертном одре. Его страшило больше всего, что с его бездыханным телом кардиналы поступят так же презренно, как поступили с телом Александра Шестого. Он спешил сделать распоряжения о своем погребении. Он просил кардиналов молиться за спасение его грешной души, в качестве священнослужителя простил всех отступников, но тут же проклял их в качестве папы, содрогался при воспоминании о своих недостойных деяниях, сожалел, что принял тиару и посох, и умер в тоске.

Новым папой был избран Джованни Медичи, сын Лоренцо Великолепного. За деньги отца в сан архиепископа он был введен восьми лет, а тринадцати лет стал кардиналом. Его наставниками были Полициано, Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола. Пизанский университет присвоил ему звание доктора богословия. Он восхищался всеми искусствами, в особенности поэзией, почитал римское право, увлекался охотой и много путешествовал по Европе. Папой он стал тридцати восьми лет.

Можно было бы ожидать, что воинственного Юлия сменил просвещенный правитель, который принесет в католический мир спокойствие, порядок и справедливость. Но нет, Лев Десятый начал с того, что истратил сокровища Юлия на пышные празднества в Риме по случаю своего посвящения, предпочитая, как он повторял, размягченный музыкой и вином, что надо наслаждаться жизнью и делать добро своим родственникам.

Родственников у него было много, и они не страдали отсутствием аппетита. Один требовал себе Милан, другой Неаполь, третий Тоскану, четвертый особое королевство, составленное из Модены, Реджио, Пьяченцы и Пармы, пятый желал стать императором Священной Римской империи. Наслаждения приходилось на время отставить и пуститься по кровавым стопам папы Юлия. Казна была пущена по ветру. Приходилось искать новых союзников, увеличивать сборы и мешками продавать индульгенции, не беспокоясь о том, что такие действия возмущают Европу. Союзником могла быть Испания, но могла быть и Франция. Это зависело оттого, у кого больше солдат. Папа наводил справки и колебался. Его вывел из затруднения французский король. Людовик Двенадцатый договорился с Венецией о совместном походе в Ломбардию. Венецианские и французские войска двинулись к Милану с востока и с запада. Итальянские города сдавались без боя, рассчитывая таким образом избежать разграбления. Раздумывать стало некогда. Папа завлек в союз против Франции императора, Испанию и английского короля. Так он вновь был втянут в войну.

На этот раз он хотел оставаться самостоятельным. Он сам отбирал лучников из бывших крестьян-арендаторов, которые бросили свои земли, как ему говорили, от лени, и составил отряд в несколько тысяч стрелков, лучших в Европе, как это было признано всеми. Его артиллерия была довольно слаба. Зато ему удалось собрать несколько сотен старых кавалеристов, когда-то служивших отцу. У каждого из них был опыт боев и по нескольку заводных лошадей. Он присоединил к ним несколько сот новобранцев, но успел научить их только тому, как управляться с копьём.

Они высадились на северо-западе Франции. Они двигались медленно, однако ему удалось добиться того, что в войсках сохранялся полный порядок. Он пригрозил, что повесит каждого, кто будет уличен в мародерстве, и повесил несколько новобранцев из бывших бродяг, которые только потому и подписали контракт, что надеялись разжиться в походе за счет неприятеля. За еду и питье его солдаты платили деньгами, и мирное население оставалось спокойным. Это было особенно важно, потому что отряд его был небольшим и у него не могло быть и не было тыла. Французы не ожидали его и спешно набирали солдат из разного сброда. Они подошли к Гюнегату и только здесь встретились с неприятелем. Он поднялся на холм, когда увидел цепочку всадников, которая пробиралась через лес навстречу ему. Он насчитал две сотни и сбился. Необходимо было тотчас атаковать, чтобы неприятель не успел принять боевого порядка, но его кавалерия растянулась и не была готова к атаке. Всадники направлялись к деревне. На её окраине выстраивались французские лучники. Их кафтаны украшались шитьём. Среди них было несколько спешенных рыцарей, которых легко было узнать по золоченым кирасам. За его спиной приближался топот ног и копыт. Пехота и кавалерия медленно обтекали холм. Он подал сигнал. Впереди стали строиться лучники. Первым делом все они почти разом сели на землю и сбросили башмаки. Они стали строиться в линию босиком, чтобы впиваться в землю пальцами ног: это обеспечивало меткость стрельбы. Каждый из них перед собой глубоко всаживал в землю древко копья с наклоном вперед, так что перед строем вырос

частокол стальных наконечников. Ему объяснили, что лошади боятся железа и во время кавалерийской атаки обязательно повернут в сторону, подставляя бока и спины всадников под град стрел. Он этого прежде не знал. За их спинами открыли несколько бочек вина, и по рядам прошли большие ковши. Кавалерия прикрывала их с флангов. Справа стояло несколько пушек – все, что он имел. Французские лучники первыми дали залп, забросили за спину луки, схватили копья и двинулись на англичан. Им пришлось идти через поле, на котором поспевала пшеница. Они шли медленно, сминая её. У англичан были длинные и более мощные луки. Они поражали цель шагов за шестьсот. Его лучники били французов на выбор, не двигаясь с места. Всё больше французов падало с каждым шагом вперед, скрываясь в пшенице. Им на помощь из-за деревни выскочил отряд кавалерии, но ему пришлось скакать краем поля, вдоль изгороди, узким пространством. Его кавалерия расступилась. Его пушки сделали несколько залпов. Ядра валили людей и лошадей. Он поднял руку. Конная масса обрушилась на французов. Лучники, оставив луки, вырвав копья, дружно бросились на врага. Французы бежали, оставив в поле несколько сотен убитых и раненых. Их необходимо было добить, но за деревней был обнаружен обоз. Его солдаты бросились грабить. Никакая сила не могла их остановить, да никому и в голову не пришло останавливать. О преследовании бегущего неприятеля не могло быть и речи.

Тем не менее победа была несомненной и полной. Всю ночь горели костры. Солдаты пили вино и пели английские песни. Он готов был дать им на отдых несколько дней и двигаться дальше. Но война была кончена. Испанцы и немцы подходили к Венеции на пушечный выстрел и видели колокольни святого Марка. Французский король, спасая Венецию, поспешил заключить перемирие с Фердинандом Католиком и предложил мир английскому королю. Пришлось его подписать. Иначе он остался бы с французами один на один, а для этого его армия была слишком мала и слаба. Нечего говорить, что никаких выгод из этого мирного договора он не извлек.

Вскоре умер французский король Людовик Двенадцатый. За ним последовал его давний противник испанский король. Соединенный трон Кастилии Арагона достался эрцгерцогу Карлу, сыну Жанны Безумной и Филиппа Красивого, правителю Фландрии. Ещё в их раннем детстве Фердинанд Католик и Генрих Седьмой договорились о браке инфанта Карла и английской принцессы Марии. Правителю Фландрии союз с Англией ничего не давал. Интересы Испании ему были чужды. Фландрия нуждалась в союзе с Францией, своей южной соседкой, и Карл разорвал обещание, данное дедом, и обручился с французской инфантой, которой только что исполнился год, тем показав французскому королю, что желал бы с ним союза и мира, но оставив свои руки свободными, поскольку невеста была ещё слишком мала.

Генрих был озлоблен и оскорблен. Оскорбление обжигало его всякий раз, как он о нем вспоминал. Он большими шагами, почти задыхаясь, измерил весь зал, распахнул дверь и, в нарушение этикета, глухо крикнул:

– Прошу!

Только здесь он опомнился, с той же поспешностью воротился назад, грузно опустился на свое высокое королевское место и принял суровый вид.

В зал вступил испанский посол. Он был уже стар. Его седые волосы были коротко стрижены. Жидкие усы и бородка едва проступали на бледном иссохшем лице. Небольшая голова утопала в высоком плоеном воротнике, закрывавшем затылок и уши. Черный камзол украшал только орден и алмазные пуговицы. Пряжки на башмаках были из чистого золота. Весь его вид говорил, что Испания богата и властна и никому не уступит ни в чем.

Генриху это было известно. Он отвечал послу гордым взором правителя, которому тоже всё нипочем.

Старик приблизился ровно настолько, насколько позволял этикет, отставил одну ногу назад, другую слегка преклонил, отвесил положенный вежливый, но короткий поклон, приветствовал английского короля и спросил о здоровье.

Генрих видел и знал, что беседа будет недоброй. Он сухо ответил, ещё суше сказал о здоровье и в свою очередь спросил о здоровье испанского короля.

Здоровье испанского короля пребывало в полном порядке, хотя Генриху было известно, что Карл часто страдал недомоганиями непонятного, странного свойства, жестокое наследие Жанны Безумной. Старик выпрямился, закинул голову, несколько изогнулся в спине, придавая себе вид неприступности и величия, и резким голосом почти прокричал, что английские пираты разграбили испанский корабль, идущий в Антверпен, захватили испанских дворян и продали в рабство на острова.

Дело было обычное. Англия ничего не могла противопоставить Испании, кроме пиратства. Английские пираты крейсировали у входа в Ла Манш и грабили испанские галеоны. Дело приносило громадные прибыли, от тридцати до сорока фунтов стерлингов на один вложенный фунт. Английские коммерсанты составляли компании и снаряжали пиратские корабли, с патриотической целью оборвать наглых и гордых испанцев и нажиться за счет испанских колоний в Мексике и Перу, откуда испанцы вывозили золото инков сотнями килограмм. Генрих тоже участвовал в этих компаниях, вкладывая средства через подставных, разумеется, лиц, но об этом всё равно было известно и англичанам, и всем иноземным послам. Старик тоже не мог об этом не знать. Генрих сделал вид, что он удивлен:

– Этого не может быть.

Старик усмехнулся:

– Мы получили достоверные сведения. Наш корабль был взят командами двух кораблей. Так трусливо могут действовать одни англичане.

Это было открыто оскорбление, но Генрих пропустил его мимо ушей:

– Позвольте узнать, какой они подняли флаг?

Старик брызнул слюной:

– Англичане нападают без флага!

Слава Богу, умные люди, не то пришлось бы краснеть и беззастенчиво врать.

Генрих повел рукой, изображая недоумение:

– Отчего же английский? Это мог быть французские корабли.

Старик это знал. Кроме англичан, испанские галеоны опустошали ещё и французы, а также голландцы. Их прибыли были так же огромны. Французские и голландские коммерсанты так же составляли компании и отправляли в море пиратов. Это было в порядке вещей. Разница была только в том, что в такого рода компаниях участвовал только английский король, и потому претензии ему предлагали чаще других. Старик проворчал:

– Французы более благородны и менее жадны. Они торгуют неграми и не станут продавать в рабство дворян.

Генрих рассмеялся деланным смехом:

– Вы плохо знаете их. Французы бесстыдны. Но дело не в этом. Если бы вы назвали имена капитанов, тогда я бы начал расследование, а без имен...

– Они нам неизвестны!

– Тогда представьте хотя бы список дворян, которые, как вы утверждаете, проданы англичанами. Я попробую навести справки о них.

– Мы их уточняем.

– Очень жаль. Но я подожду.

Старик, покраснев, отвесил небрежный поклон, резко повернулся на тонких ногах и простучал каблуками. Дверь затворилась за ним.

Генрих весело рассмеялся. Он был доволен. Прекрасное настроение утра воротилось к нему.

Дверь приоткрылась. В узкую щель всунулась голова Томаса Кромвеля и ждала, когда её позовут.

Генрих кивнул и спросил, когда Кромвель приблизился и встал в ожидании на почтительном расстоянии:

– Что он?

Кромвель выпрямился и бойко ответил:

– Всё то же!

Генрих нахмурился:

– Не просит помилования?

Губы Кромвеля двинулись, но удержались от довольной улыбки:

– Он безнадёжен.

Генрих резко поднялся:

– Я не ошибся. Я давно знал, что это не тот человек, которому посты и блага дороже достоинства чести.

Кромвель молчал и напряженно смотрел, как он тяжело шагает к дальней стене, опустив голову, заложив руки за спину, размышляя о чем-то своим. Генрих остановился. Кромвель тотчас спросил:

– Что теперь?

Генрих поднял руку, подвигал пальцами, потер подбородок и глухо сказал:

– Ты останешься канцлером.

Кромвель согнулся в низком поклоне:

– Благодарю вас, милорд. Верой и правдой...

Генрих остановил его властным движением:

– Это – оставь!

Кромвель застыл. Они помолчали. Наконец Кромвель сделал шаг и напомнил тоном просителя:

– Вы мне обещали аббатство, милорд...

Генрих круто повернулся и пристально посмотрел на него:

– Сказано – жди!

Кромвель пожевал губами, наморщил лоб и всё же спросил:

– Чего теперь ждать?

Генрих медленно, отдельно заговорил, наступая, протянув руку, точно намеревался толкнуть его в грудь:

– Уже присмотрел?

Кромвель попятился:

– А как же... Аббатство хорошее...

Генрих повысил голос:

– Прикажешь послать в твое аббатство солдат?

Кромвель жалобно улыбнулся:

– Можно и так...

Генрих крикнул:

– Ну нет! Я не захватчик! Я не тиран! Монахи прячут богатства, полученные вымогательством и обманом. Кого ни спросишь, все говорят, что они бедны, как церковные крысы, а как вздернешь на дыбу, открывают свои тайники. Так вот, изволь приготовить парламентский акт: отныне все бедные монастыри поступают в казну короля. Я думаю, парламент утвердит этот акт.

Кромвель рассмеялся, довольный, мелким смешком:

– Утвердит, утвердит! С большим удовольствием утвердит! Там страсть как не любят монахов! Бездельники, пьяницы – говорят! Да и тоже многие очень хотят потом что-нибудь получить. Земли, земли нужны позарез!

Глава шестая

Драма отца

Обхвативши острые колени руками, уткнувшись в них бородой, весь сжавшись в комок, не замечая промозглого холода, тянувшего от толстой, сочившейся влагой стены, ничего не видя перед собой, Томас Мор придиричиво, тревожно и властно проверял свою жизнь, готовый расстаться и всё ещё не желая с ней расставаться.

Принимая пост канцлера, он с трезвостью философа понимал, что его могущество весьма ограничено, как и могущество каждого человека, какой бы властью того ни наделила судьба, и в этот час, мысленно возвращаясь назад, та же трезвость подсказывала ему, что, несмотря ни на что, он сделал достаточно много: Англия уберегалась от резни и развала. Его противодействие не остановило и не могло остановить самовластного короля, но, постоянно наталкиваясь на это противодействие, король был осторожен, поневоле избегая тех крайностей, которые обычно приводят народ к возмущению.

Вот что он сделал, и этого, может быть, уже нельзя изменить.

И всё же, принимая пост канцлера, в глубинах души, может быть, даже тайком от себя, как он видел теперь, ему хотелось достичь куда большего, не один только мир сохранить, но посеять хоть семечко братской, истинно христианской любви. Мечта так и осталась мечтой. Его ли это вина? Мечта ли о братской, истинно христианской любви слишком была невозможна на грешной земле, где жадность царит и корыстный расчет? Противодействие ли самовластия короля расточило его силы и время, чтобы успеть ещё что-нибудь сделать и для братской, истинно христианской любви? Он чувствовал, что этого ему уже не понять. И жалко ему становилось потерянных лет, и легче отчего-то становилось душе: он словно бы страшился поглубже вникать в эту нераскрытую, горькую тайну.

Теперь всё это стало так далеко. Нынче Англии угрожала новая распря. Монастыри разорят. Станут земли делить. Пасти овец и коров. Как не подняться брату на брата?

Поневоле думалось о другом. И он размышлял о последствиях события как будто абсолютно невинного, каким был развод короля, до этого последнего часа не признанный им, причина всех этих бед. Он усиливался с наибольшей точностью выяснить, когда именно началась эта роковая история, но это не удавалось ему, точно он искал в стоге сена иглу. Может быть, эта беда зародилась слишком давно, ещё в те времена, когда ни он сам, ни король не появились на свет? Может быть, много позднее, когда в качестве дипломата он был отправлен в Камбре? Может быть, года три или четыре назад, поздней осенью, когда его вызвали нарочным в Гринвич?

Было туманно, сыкотно, сыро. Шестерка сытых коней неслась во всю прыть. Карету качало, трясло, бросало на рытвинах так, что он чуть живой выбрался из неё у подъезда. Его тут же провели к королю. Вопреки обыкновению, имея ровный характер, в тот день он был недоволен и раздражен, брюзгливо гадая, зачем его с такой спешкой оторвали от дел. Ему не дали времени даже переодеться. Белый накладной воротник оказался несвеж. На своем острове он жил в простоте, но его вели к королю, и этот тусклый налет, покрывший его воротник, смущал его и в то же время смешил.

Уже заметно располневший король полулежал на невысоком, казавшемся узким диване. Две подушки вишневого шелка были у короля за спиной. Одежда его состояла из белой рубашки обыкновенного полотна и суконного синего цвета камзола, распахнутого на широкой жирной груди. Серебряные пряжки стягивали ремни башмаков. Король не надел никаких украшений и по этой причине выглядел благородно и просто. Лишь на указательном пальце правой руки желтел перстень с крупным опалом. Несмотря на рыхлые нездоровые опавшие

щеки, холеное лицо хранило печать просвещения. Тонкий жадный беспомощный рот выглядел слишком маленьким на широком лице, но большие глаза и тонкие дуги бровей были всё ещё по-женски красивы. Над этими большими глазами, над этими тонкими дугами возвышался светлый сосредоточенный лоб. Тоска и непонятная нежность мерцали в спокойном задумчивом взгляде. Рыжеватые бледные пальцы рассеянно сминали гвоздику. На полированном черном круглом столе громоздились разнообразные сласти, дольки апельсина темнели в золотистом меду.

Король читал рукописную книгу и не тотчас заметил его.

Торопясь разгадать, придумано ли это нарочно, чтобы растрогать его и расположить на дружеский лад, или король в самом деле читал и задумчив всерьез, он коротко поклонился и начал негромко, явно спеша:

– Вы приказали, милорд...

Не повернув головы, король так же негромко сказал:

– Нынче оставь это, Мор.

Угадывая по этому негромкому усталому голосу, что король нерешителен, тревожен и грустен, тотчас решив, что он вызван столь спешно, чтобы рассеять его тревогу и грусть, ощутив жалость к этому больному утомленному человеку, но не желая терять времени в беспредметной пустой болтовне, пристойной только шутам, зная уже, что и от пустой болтовни увильнуть не удастся, он продолжал уже неторопливо, но строго:

– Как я и предполагал, акт восемьсот девятого года, воспрещавший разрушать дома свободных крестьян, которым принадлежит до двадцати акров земли, не исполняется повсеместно. Хозяйства уничтожают, разоряя этим хозяев, каким бы количеством земли они ни владели. Обработка пашни приходит в упадок. Ваши подданные нуждаются в хлебе, а цены растут и растут. Церкви ветшают. Исчезают дома. Я имею смелость просить соизволения подготовить новый парламентский акт, который возобновил бы прежний закон. Если на этот раз мы добьемся неукоснительного его исполнения...

Не двигаясь телом, обернув к нему только голову, умоляюще взглянув исподлобья, король жалобно перебил:

– Оставь это. Нынче мне нужен не канцлер, а друг.

Не останавливаясь, словно не понимая, что ему говорят, зная любимое увлечение короля, он решился на крайнее средство:

– Свободные крестьяне, живущие безбедно своими трудами, составляют основу нашей непобедимой пехоты, и если мы...

Генрих взмолился, нервно ударив рукой по листу, издав сухой, как будто предупреждающий звук:

– Ты видишь, я читаю Вергилия, но в этом тексте ужасно много ошибок, и мне нужна твоя помощь, так помоги.

Досадуя, что ему не дают говорить о насущном, он холодно посоветовал то, что было известно и королю:

– В таком случае удобней всего обращаться к печатному тексту.

Сердито мотнув головой, сморщившись, точно от боли, Генрих стал объяснять задушевно и страстно:

– Печатная книга холодна и бездушна. Гуманистическую мысль позволяет оттачивать только старинная рукопись, хотя бы с ошибками, что из того? Это ты, ты сам много раз твердил мне об этом!

Переступив с ноги на ногу, точно устал или надоело стоять, сцепив перед собой пальцы рук, он ответил спокойно:

– Да, это я не раз говорил и могу повторить, но, в зависимости от обстоятельств, не всегда настаиваю на этом. В данном случае печатный текст легче было бы разобрать. Я не высоко ценю дела более трудные лишь за их трудность.

Передвинувшись грузно, привалившись к стене, смяв в комок и отбросив гвоздику, опустив рукописную книгу себе на олени, перекидывая большие листы, сильно пожелтевшие по краям, Генрих говорил торопливо:

– Э, полно, полезно преодолевать трудности даже пустые. Вот послушай-ка лучше... Я нашел одно место... Ага, вот оно где!

Откашлявшись, вспыхнув глазами, порозовев, прочитал выразительно, старательно выделяя цезуры:

– «Ночь прошла полпути, и часы покоя прогнали сон с отдохнувших очей. В это время жены, которым надобно хлеб добывать за станом Минервы и прялкой, встав, раздувают огонь, в очаге под золою заснувший, и удлинив дневные труды часами ночными, новый урок служанкам дают, ибо ложе супруга жаждут сбересть в чистоте и взрастить сыновей малолетних...»

Уловив явственно боль, которая на последней строке внезапно послышалась в голосе Генриха, сам этой болью проникаясь невольно, по сочувствию к страданию ближнего, спеша угадать, что последует далее, он отметил почти машинально:

– Из книги восьмой.

Не взглянув на него, заложив страницу пальцем с опалом, Генрих полистал, посмотрел на заставку, которую украшала миниатюра, выполненная синим и желтым, и с удовлетворением подтвердил:

– Да, из восьмой... Ты отлично наострил твою память.

Ухватившись за это, как за нить Ариадны, он поспешно перевел разговор на другое, лишь бы отвлечь старейшего короля от горьких, навязчивых мыслей о сыне:

– Это не столько память, милорд, сколько привычка, которая в том состоит, чтобы поддерживать в своей голове такой же точно порядок, какой заведен у хорошей хозяйки на кухне, когда стоит только протянуть в любую сторону руку и достанешь безошибочно то, что нужно достать для очага и стола. А нашу память...

Тут сокрушенно развел он руками и широко, доверчиво улыбнулся:

– ... некогда вострить, государь.

Уловив игру слов, Генрих нахмурился, взглянул исподлобья и с тихой угрозой сказал:

– Не сердь меня, Мор. Нынче не время для шуток. Хотя, по правде сказать, я твои шутки люблю. Пошутим потом, а теперь лучше-ка присядь вот сюда и говори мне, как другу, «ты», отставь пока «государя». Сначала станем говорить о Вергилии.

Сам не веря, чтобы этот странный, явным образом преднамеренный разговор ограничился темными местами великой поэмы, отметив это веское слово «сначала», предчувствуя худшее по холодному тону и тихой угрозе, спокойно готовясь и к худшему, он неторопливо опустился на бархатную скамейку, расставил ноги в черных чулках, любя с детства латинские древности:

– Мудрость Вергилия бесконечна, клянусь Геркулесом, как мудрость всех древних поэтов. Несколько ранее, в книге седьмой, поближе к концу, у него говорится: «Мирный и тихий досель, поднялся весь край Авзонийский. В пешем строю выходит один, другие взмещают пыль полетом коней, и каждый ищет оружие. Тот натирает свой щит и блестящие легкие стрелы салом, а этот вострит топор на камне точильном, радуют всех войсковые значки и трубные звуки. Звон наковален стоит в пяти городах...»

Сузив глаза, вдруг потерявшие цвет, ставшие как холодные льдинки, оцетинившись рыжеватой полоской ресниц, Генрих остановил недовольно:

– С каких это пор ты полюбил военную брань?

Он невозмутимо ответил:

– Я и нынче её не люблю. Я по должности обязан думать о ней.

Генрих поднял несколько голос, глухой и капризный, отводя однако свой взгляд:

– Какой ты упрямец! Вечно свое!

Удивляясь и сам, как это место удачно подвернулось ему на язык, потеряв тут же охоту продолжать мысль Вергилия о войне, которая так кстати пришлось к разговору о свободных крестьянах, разоренных большими владельцами, он ответил пространно, вновь с намерением уводя в сторону эту неровную, загадочную беседу:

– Напротив, я не упорствую никогда и всегда готов переменить мое мнение по предложению того человека, о котором я подлинно знаю, что тот без основания никогда не станет ничего предлагать.

Пудобней устроив книгу на толстых коленях, осторожно, с любовью вновь перекидывая большие листы, Генрих мягче, уступчивей попросил:

– Оставь свою мудрость, философ. Лучше мне помоги. Вот в этом месте, где «часы покоя прогнали сон с отдохнувших очей», мне сдаётся, не совсем верно было бы говорить о покое. «Часы покоя прогнали сон»? Наш Вергилий всегда до щепетильности точен. Может быть, переписчик ошибся, копируя текст?

Наблюдая исподволь за каждым движением Генриха, по давней привычке сжимая и разжимая пальцы левой руки, размышляя, как будто бы кстати возвратиться к акту парламента, который необходим для мира и покоя в стране, он не торопясь изъяснял:

– Должно быть, это место лучше понимать, как изжили сон, даже как сокрушили, то есть в том именно расширительном смысле, что благодаря асам покоя сам собой проходит благодетельный сон, сам собой не нужен становится нам.

Генрих оживился, вскинул голову, вновь блеснувши глазами, точно бы для того, чтобы увериться в том, что он без подвоха, а искренне, от души заговорил о Вергилии, и поискал карандаш, размышляя раздумчиво вслух:

– Пожалуй, ты прав. Я помечу на поле. А дальше так стройно, так хорошо: «ибо ложе супруга жаждут сберечь в чистоте и взрастить сыновей малолетних»!

Всё это были давние тайные мысли, всё это безнадежная тоска в глубине, так что сердце зашло от неё, хотя она была не своя, и он, не выдержав первым, сочувственно произнес:

– Всё тоскуешь по сыну, как вижу.

Как будто обиженный этим сочувствием, но тотчас обмякнув, опустив жирные плечи, Генрих засопел, заспешил, и взволнованный голос внезапно затуманили слезы:

– Тебе так не больно, как мне. Тебе, как мне, мое горе спать не дает. Своих сыновей ты давно уж взрастил.

Он от всей души принялся его утешать, однако выбравшись себя про себя, что разумом не успел охладить свое не столько мужское, сколько женское чувство, тут же возражая себе, что доброе чувство нельзя охлаждать:

– Тебе всего сорок лет. Как знать, чего от нас хочет Господь.

Генрих гневно воскликнул, болезненно морщась, раздувая острые ноздри, готовый, как было видно, рвать и метать, лишь бы на ком-нибудь выместить свою боль и свой гнев:

– Уже сорок лет! Вот как ты был должен сказать! А ей уже сорок семь! У неё уже никогда не будет детей! Ты это знаешь, как знаю и я! А какой я без сына король?

Кто бы не согласился, что власть в государстве должна передаваться от отца к сыну, как власть в доме от мужчины к мужчине, но он всё же, старательно соблюдая должную осторожность и в тоне голоса и в выражении лица, произнес:

– У тебя есть дочь от неё, и есть ещё время, чтобы она дала тебе сына. К тому же у римлян был довольно разумный обычай выбирать преемника усыновлением.

Генрих усмехнулся презрительно:

– Дочь – плохая наследница, а римляне мне не указ. Дочь посеет раздор. Да я теперь говорю не о том. Может быть, это в самом деле Господь наказует меня, ибо в сорок лет я всё ещё не ведаю чистого ложа, как ты!

Он простодушно напомнил:

– Я женат на вдове.

Генрих выкрикнул зло, сверкая ледышками глаз:

– Не лукавь со мной, не лукавь! Первым браком ты был женат на девице, я знаю!

Он возразил:

– Помилуй, разве столь житейские обстоятельства имеют значение для короля, для страны?

Отбросив Вергилия сильным движением, Генрих приподнялся, принагнулся к нему и выдохнул прямо в лицо:

– Я не только король, но ещё и мужчина, а для мужчины, для мужчины имеет значение именно это! Она мне говорит, что это я, что у меня, что я весь гнилой. Понимаешь, что говорит мне эта старая дура!

Пристально глядя на него снизу вверх, он возразил добродушно и мягко:

– Не так важно и для мужчины, как тебе представляется, и вовсе не должно быть важно для короля.

Задыхаясь, рывком распахивая тугой воротник полотняной рубашки, сдавивший напряженную жирную грудь, Генрих, впадая в истерику, закричал на него:

– Ты не можешь об этом судить! Ты свободен! Ты не король! Тебя миновала чаша сия! Вот они – эти насильные браки! Тебе говорят: это надо для государства, для его блага, ведь ты король, опора и надежда страны! Тебе говорят: так надо для упроченья союза черт знает с кем! А где он, скажи мне, где он этот проклятый союз?

Он видел, что Генрих не нуждался в ответе, но всё же сказал:

– А все-таки ты был оскорблен, когда Карл расторгнул помолвку, и выдал сестру на французского короля.

Генрих озлился:

– Тоже был круглый дурак! Хуже того: был подлец! Разве браком удержишь союз? Я это понял только теперь. Они же не ведают, что творят. Вишь ты, дипломаты и правоведы высчитывают, кто с кем должен спать, словно вычерчивают геометрические фигуры, торгуют детьми, уже начиная с – пеленок, детьми несмышленими, нежными, жаждущими любви. Торгуют, торгуют, выторговывают надбавки, выменивают невинных младенцев на благо держав. А дети растут. Детям хочется жить. Они тоже люди, вот что пойми ты, пойми! Они не бараны, не лес, не пенька. Дети жаждут любви! Сколько лет торговали инфанту за брата Артура? Это ему, Мортону моему, нравился этот дурацкий расклад! Это Мортон твой рассчитал! И оженили, когда Артуру не было и пятнадцати лет! Какой он был муж в те невинные лета? Слабый, болезненный мальчик. Ему бы расти и мужать. А его прежде времени уложили в постель. Нет, я больше не желаю зависеть ни от кого! Я хочу жить, как хочу!

Истерические жалобы тяготили его, да и слышал он их не впервые, но возразить на них было нечего. Детми торговали и в прежние времена и теперь. Не будь таких браков, Тюдоры не стали бы английскими королями. Он ещё помнил, с каким утонченным искусством Мортон, канцлер и кардинал, сватал инфанту единственно ради того, чтобы мир с Испанией был нерушим хотя бы на несколько лет, пока разоренная усобицей Англия не оправится от разрухи. Такова была цель. Тогда этим браком был обеспечен мир и союз. И теперь он не имел права поддакивать слезливым жалобам короля, во имя всё того же мира и союза с Испанией, и он сказал, умело и постепенно переводя на другое, ещё слабо надеясь, что это, как и прежде бывало множество раз, хандра и тоска, минутный каприз:

– Как же, я помню отлично, как Мортон много раз повторял за столом, за которым обычно собирались друзья, что он вынужден добиваться этого брака, повторяя, что война с Испанией нам не нужна. Выходит, решение Мортон тоже зависело от обстоятельств, которые были так же враждебны, как и теперь. Ты же раздражен и потому полагаешь, что то была злая воля его.

Жирная обнаженная грудь Генриха затряслась, злобной жестокостью исказилось оплывшее жиром лицо:

– Этот интриган, этот паршивый маньяк! Ему бы куда больше пристало звание сводни, чем кардинала! Была б его воля, твой Мортон всех принцев и всех принцесс переженит бы из расчетов своих, сукин сын! Принцессы и принцы служили ему всего-навсего математической формулой! Если это туда, эта сюда, силы будут равны, а если та туда, а этот сюда, будет война. Вот она – выучка продажного Рима! Все они там таковы!

В общем, Генрих был прав. Политика была продажна насквозь, без чести, без совести, без истинно христианской любви. Он только пожал плечами и возразил:

– Не следует побеждать голос разума криком. Сроднив Тюдоров и Йорков, Мортон только этим союзом и положил конец десятилетиям кровавой резни, разорившей Англию куда больше, чем разорило бы нашествие неприятеля, а брак инфанты и Артура положил начало союзу с Испанией, которая могла бы стать тогда нашим злейшим врагом. Почему ты не хочешь думать об этом? Ты же правитель, король, отец нации, так сказать.

Генрих в бешенстве ударил кулаком по колену здоровой ноги:

– Думать о чем? Ты мне советуешь! Я помню, я думаю, что совершил тяжкий грех, ради всех этих паршивых союзов, которые, как оказалось, мне совсем не нужны. Я женился на вдове моего прежде времени угасшего брата, а вдова была старше меня на семь лет. Целых семь лет! А Испания что? Плевала твоя Испания на инфанту! Твоя Испания всё равно стала нашим злейшим врагом! За что же я-то теперь должен нести наказание? Где она, твоя хваленая справедливость для всех? Что же, справедливость не распространяется на твоего короля?

Ему было жаль и Генриха и короля, но он не выразил жалости, опасаясь жалостью ему повредить, и ответил спокойно:

– Справедливость должна одинаково распространяться на всех, но это случается не всегда.

– И на меня, на меня?

– И на тебя, на тебя. Да, ты не сам себе выбрал жену, но ты согласился и прожил с ней двадцать пять лет.

Генрих ещё ближе принагнулся к нему, скаля зубы, хватая его за плечо:

– Ага, так вот оно что! А ты разве не помнишь, как умер отец? Он жил тогда в Ричмонде и умер внезапно. Его ненавидели все, почитали злодеем и скрягой только за то, что он расправлялся с мятежниками и обеспечивал свое состояние, забирая имущество побежденных баронов, как все во время войны берут контрибуцию.

Он иронически улыбнулся:

– К тому же получив от своих подданных около двух миллионов на эту войну.

Генрих дергал и тряс его за плечо, выговаривая упрямо, поднимая и опуская тонкие брови, то расширяя, то сужая глаза, совершенно потерявшие цвет, одни черные пятна зрачков:

– Отец был в этом прав. Ты не можешь не знать. Ты, философ, мудрец. Эти деньги укрепили королевскую власть. Кто виноват, что люди почитают лишь богатство и силу и презирают даже равных себе, не говоря уж о слабых и бедных. И вот когда этой силы не стало, когда эта сила, остановившая их, лежала в объятиях гроба, они могли взбунтоваться, надеясь отнять у короля и Англии то, что он когда-то отнял у них. Окольными путями я прискакал с отрядом телохранителей в Лондон. Мы заняли Тауэр, заперев все ворота засовами, и вокруг замка стянули отряды, на которые можно было ещё положиться. Мне предстояло сделаться сильным или погибнуть в огне мятежа, а в мятеже погибла бы не одна моя голова, но и головы многих и

с ними мир Англии, мир нации, как ты говоришь, тот мир, который был упрочен столькими жертвами. Это были для меня ночи тревог и раздумий. Тогда и решил я жениться на Катерине. Да, да, во спасение моей головы и во имя мира в стране. Мне позарез была необходима поддержка Испании. Разве всё это ради моего удовольствия, ради меня одного? Вовсе нет! Ради спасенья моей головы, ради спасенья короны, но и ради спасенья страны я молил папу Юлия разрешить этот богомерзкий, этот преступный, этот противоестественный брак! Я унизился перед ним, как только мог, унизился перед тем, кто не стоил моего уважения, кто сам был преступником на папском престоле. И он разрешил!

Становилось больно плечу, и он попытался неприметно освободиться, резко спросив:

– Так ради головы и короны или ради покоя страны?

Генрих держал руку над ускользавшим плечом, точно собираясь ударить его, и быстро, беспокойно сказал:

– Разве можно их разделить? Да, ради головы и короны и ради покоя, поверь мне! Разве я когда-нибудь лгал, что мне безразлична моя голова и корона? Да, я ужасно люблю и голову и корону, это естественно, ведь я человек и по рождению король, но и держава дорога мне не меньше! Я знаю, ты сомневаешься в этом и сомневался всегда. Тебе представляется тиранией и самое малое возвышение моей власти над властью парламента. Как знаешь, Господь тебе судья, но это так. Вот сам рассуди: ведь всемерное упрочение власти моей служит на благо страны. Вседневно молю я Господа о её процветании, ты это знаешь, я не лгу, клянусь тебе дочерью, почему же не веришь ты мне?

Он этому верил, но не стал отвечать, а только спросил, строго глядя снизу прямо в расширенные глаза, плававшие не одним только бешенством, но и годами накопленной, как он знал, затаенной тоской:

– И что же теперь?

Весь вспыхнув, с трудом ещё ниже пригибаясь к нему, чтобы, должно быть, следить за выражением его не менявшегося лица, Генрих взволнованно выговорил, умоляя его вдруг потерявшими силу глазами, такими беспомощными, как у детей:

– Ты же всё понимаешь! Ты знаешь, чего я хочу. Не хитри. Я хочу развода с женой!

Он это знал и понимал его чувства короля и отца, которым одинаково нужен наследник, чтобы продолжить династию и свой род, но он предвидел последствия, если это случится, всеми силами противился этому, продолжал противиться даже под тяжестью этих умолявших беспомощных глаз и потому спросил с затаенной иронией, стараясь оставаться спокойным, хотя давно уже не был спокоен:

– Как мужчина, ради укрепления своей власти против власти парламента или на благо страны?

Отшатываясь, нехорошо улыбаясь, Генрих укоризненно покачал головой:

– Отчего ты не веришь мне? Ведь ты же мудрец!

Он выпрямился и посмотрел безбоязненно, прямо:

– В этом я не могу вам поверить, милорд.

Король грузно поднялся, держа небольшие изящные руки на кожаном поясе, расслабленно говоря:

– Ты не веришь своему другу Гарри? Я верно понял тебя?

Он не любил этот расслабленный, вдруг ставший старческим голос, за которым обыкновенно следовали взрывы бешеного упрямства, тоже встал со скамейки, чтобы каким-нибудь нечаянным вздором понапрасну не раздражать короля, маленький, щуплый, подвижный, рядом с громадой неуклюжего королевского жирного тела, и нехотя согласился, глядя мимо, в окно, на низкое небо, покрытое сплошными слезливыми серыми тучами, на сумрачный день, нагонявший тоску, подумав о том, что ещё один день окончательно пропал и испорчен, пропал навсегда и уже никогда не возвратится таким, каким мог бы быть в кабинете, где он, отложив в

сторону свои изыскания, готовил новый парламентский акт о неприкосновенности крестьянских домов и земель, или на острове, где он не был уже несколько дней и уже тосковал по семье:

– Почему же, я верю, что моему старому другу Гарри давно надоела старая, больная жена.

Король, одергивая нервно камзол, неловкими пальцами оправляя ворот собравшейся складками на жирной груди, сморщенной, мягкой, но уже опять тесной рубашки, почти жалобно, торопливо протестовал:

– Она старая, да. Это каждому видно. Но ведь ещё не больная же, нет. Я не о возрасте её говорю. Прошу тебя. Ты со мной не хитри. Она никогда не понимала меня. Чужая, испанка, упрямая дочь Фердинанда. Ей только и свету в окне, что родня, её племянничек Карл. Пока я держался союза с Испанией, в её глазах я был великий король и великий правитель, умнейший из смертных, черт побери. Я долго терпел, ну, после того, как её племянничек Карл жестоко меня оскорбил, но не мог не отойти от него. На благо Англии, да, уж с этим-то ты не поспоришь. И нынче она так испуганно смотрит, так плачет и молит и говорит без конца, что я сбился с пути, что я обманут, что меня подбивают против её племянника Карла мои дурные советники, что мне надлежит умолять его о новом союзе, что я идиот.

Он видел, что король втягивал его в ещё один бесполезный, бессмысленный спор, не первый в последние месяцы, несносный, неприятный ему, ибо у него просили согласия, которого дать он не мог и в котором не мог отказать. Он стоял, смотрел как беспокойно двигались руки, как тяжело и порывисто Генрих дышал и подыскивал холодные, невозмутимые фразы, которые бы были способны загасить этот спор, не только о жене, но и о Боге, который благословил этот брак. Он пытался избежать прямого ответа, но какие же в этом случае могли быть благоразумные фразы? Все, какие подворачивались ему на язык, казались случайны, двусмысленны, чуть ли не в каждой он обнаруживал острое жало, которое могло бы ещё пуще распалить короля, разжечь словесный пожар да ещё нарушить эту сложную, какую-то странную дружбу, прежде времени смешать его близкие и дальние планы обустройства мирной жизни в стране, остановить этот парламентский акт о свободных крестьянах прежде всего.

Он склонил голову на плечо, как понурая птица, опустив вдоль тела бессильные руки, сердясь на себя за медлительность мысли, всегда живой и покорной ему, и приглушенно, вежливо говорил:

– Может быть, её величеству трудно понять, ибо испанский союз был нашей давней, традиционной политикой, которая и упрочила власть новой династии. К тому же её величество женщина и живет более сердцем, чем разумом, как пристало жить нам.

Король проворчал, посмеиваясь каким-то жидким, видимо деланным смехом:

– Ну, и сам ты не любишь давних традиций. Дозволь я тебе, ты давно бы расправился с ними, всё перевернул бы вверх дном, для начала отобрав у владельцев законное право поступать с землей, так им захочется, если истекает срок договора, как бы этому ни противился арендатор, а меня, чего доброго, короля превратил бы в какого-то князя в каком-то твоём Амауроте или как там сказано у тебя.

Он возразил равнодушно:

– Сперва непригодность, неразумность давней традиции должна сделаться очевидной, понятной для всех, как и традиция владельца овец лишать землешца земли, когда истек срок договора. Разумеется, это дело законное, испокон веку идет, однако ж противное призыву о милосердии, идущему свыше. Разве так плохо, если не жестокость закона, но милосердие станет традицией?

Серьезно взглянув на него, король шагнул, тяжело переступая отеками больными ногами, обтянутыми тесным черным трико, крепко взял его под руку и медленно повел рядом с собой, дружелюбно, почти успокоенно растолковывая ему:

– Ты настоящий мужчина. Решительный. Смелый. Ты в любых обстоятельствах владеешь собой. Мне нравится это в тебе. Сам я слишком порывист. Мне всегда хочется в один миг

всё переменить, если это может увеличить мою власть над людьми, ведь им во благо сильная власть короля.

Они неторопливо шагали неприятным гулким сводчатым залом. Его быстрые тонкие ноги не попадали в шаг короля. Он то и дело мягко ударялся и терся о жирный бок, о женственное бедро, неловко переступая, размышляя о том, что Генрих не только нетерпелив и порывист, это бы ещё ничего, и отговаривался полусуто:

– Всё решительное подозрительно женщинам. Им спокойно, уютно лишь с тем, что устойчиво и привычно для них. В риске мужчин они подозревают опасность для своего очага, возможность потерять равновесие жизни, утратить домашний покой. В женщинах говорит материнство. Им дорого насиженное гнездо.

Прихрамывая, переваливаясь, должно быть, не слушая, что ему говорят, король продолжал настойчиво объяснять:

– Порвать с Испанией было необходимо. Не для меня одного. Ты поверь. Но для Англии. Возможно, и для Европы.

Ему было неприятно дышать этим воздухом, застоявшимся, волглым, не освеженным чистым ветром полей, по которым любил он гулять. Вызывала досаду роскошная пустота огромного зала. Идти с хромающим королем становилось всё неудобней, всё тяжелей. Он видел, что, на какие дипломатические умолчания он ни пускался, его всё же втягивали в этот не только тщетный, суетный, но ещё и таящий опасность, слишком многозначительный диспут о личной жизни и политике короля. Душевный покой был утрачен. Настроение становилось всё хуже, каким-то раздраженным, гадким, чужим. Все-таки он терпеливо, с едва уловимой насмешкой спросил:

– Потому что паршивец Карл отказался жениться на вашей любезной сестре? Взглянув невнимательно, искоса, покачнувшись оттого, что неловко ступила больная нога, король возразил:

– Это был всего лишь отличный предлог. Не больше того. Благодарение Господу, что такой предлог подвернулся. Тебе ли не знать, что Испания становилась слишком сильна и опасна. Этот Карл родился в рубашке. Ему досталась не только Испания. Он стал владеть Германией, Италией, Фландрией и Вест-Индией. Ему противостоит одна Франция. Если бы мы не разорвали с Карлом союз, он раздавил бы Францию, как орех. Тогда ему на потеху осталась бы только Англия, подобие мыши, загнанной в угол. Каково тогда было бы мне, тебе, англичанам?

Пытаясь неприметно вывернуть затекавшую руку из тяжелой руки короля, шагая неловко, раздражаясь всё больше, он ответил негромко, решительно, жестко:

– От иноземных вторжений нас отлично защитила природа.

Подведя его к большому камину, сложенному из диких камней, в котором, слабо мерцаая углями, догорали дрова, король выпустил наконец его утомленную руку, опустился в тяжелое кресло, покрытое войлоком, обитое вытертой кожей, и громко хлопнул в ладоши. В тот же миг дежурный выскочил из-за высоких дверей, не издав ни скрипа, ни звука. Не взглянув на него, король отрывисто приказал:

– Больше огня.

Дежурный, услужливо пав на колени, осторожно, умело расшевелил головешки, засверкавшими тут же свежими языками огня, и ловко, размеренно, с перерывами, давая заняться, подбрасывал тонкие высушенные поленья.

Король, с удовольствием, написанным на лице, протягивая руки к огню, насмешливо говорил, перейдя на латынь:

– Твоя природа не помешала ни римским солдатам, ни Вильгельму Завоевателю. Ты иногда забываешь, в каком мире живешь. Жестоком, безжалостном мире, поверь. Наш остров все-таки не похож, как ты ни старался, на тот, который ты так умно и с такими удивительными подробностями описал в своей славной книге. Я прочитал её с удовольствием. Не будь я коро-

лем, я, может быть, написал бы не хуже. Но я король. Мне известно, что вокруг нас природа не создала столько подводных мелей и скал, чтобы сделать подход чужих кораблей невозможным, даже в пору туманов, а у испанцев довольно трехпалубных галеонов, чтобы напасть со всех сторон одновременно, высадить несколько армий и прикрыть их огнем своих пушек.

Наблюдая, как охотно и весело разгорался огонь, обдавший ноги, обутые в башмаки и чулки, первым, самым ласковым, самым любимым теплом, он почтительно, неподвижно стоял рядом с креслом и без желания, но уверенно отвечал:

– Вместо того, чтобы воевать почти непрерывно четыре столетия, наши солдаты могли бы искусственно так укрепить берега, что немногие защитники могли бы отразить неприятеля, каким бы ни располагал он количеством галеонов и пушек.

Взглянув на него с удивлением, король коротко, пренебрежительно рассмеялся:

– Что я слышу! Да уж не поверил ли ты спустя столько лет, что твой выдуманный Утоп в самом деле прорыл те пятнадцать или сколько там миль, которые отделили его особенный остров от враждебного ему, как и нам, континента?

У него робко сжалось и дрогнуло сердце. Мечта, посетившая его в юности, теплилась все эти годы, подобно искре под слоем золы, где-то тайно и глубоко, и в сущности никогда не оставляла его. Теперь она вдруг шевельнулась под слоем вседневных забот, всполошив его совершенно некстати. Его доброй мечте не мешали ни удивленные взгляды, ни пренебрежительный смех короля. Он подумал о том, что, казалось бы, фантастичное, невозможное, о чем он, страстно мечтая о добром мире и мирном труде, восхищенно писал в своей книге, о чем так неожиданно, высокомерно и почти издевательски напомнил король, могло быть так возможно, вполне исполнимо, легко, хоть бы завтра это начать, пойми только король, что укрепление берегов и удобней и надежней для всех, не говоря уже о солдатах, которые, оставив оружие, охотно возвели бы неприступные крепости, лишь бы не рисковать беспрестанно жизнью в боях, не принеся ни покоя, ни мира.

Что бы могло помешать? Разве всему живому не хочется жить? Многим ли из солдат доводится дотянуть до победы, после которой вновь приходится воевать? Разве так много лет отделяет одну войну от другой?

Он нетерпеливо воскликнул, на мгновение забыв, где находится и с кем говорит:

– При желании прорыли бы вдвое!

Король отрывисто приказал, на этот раз по-английски:

– Довольно. Оставь нас. Иди.

Дежурный торопливо подбросил в загудевшее пламя несколько кряжистых поленьев, которые должны были долго гореть, вскочил и бесшумно исчез.

Король слабо повел рукой в сторону простого тяжелого табурета:

– Садись и не повышай голос при слугах. Плохой ты придворный, как я ни бьюсь.

Он сел правым боком к огню, сознавая оплошность, смущенно пробормотав:

– Я предупреждал вас, что я не придворный.

Настроение короля Изменилось. Генрих усмехнулся, пожал плечами и беззаботно спросил:

– Отчего философы предаются мечтам? Философам, согласно их званию, надлежит трезво мыслить и видеть вещи такими, как они есть. Скажи, отчего?

Он невозмутимо ответил, подавшись вперед, опираясь на колени локтями, разглядывая ладонь, по которой весело прыгал алый отсвет огня:

– Я не знаю.

Генрих тоже потянулся к огню, тепло улыбаясь:

– Иногда ты забавляешь меня.

Он прищурился и напомнил, не взглянув на него:

– Я не шут.

Генрих пошевелил небольшими красивыми пальцами, покрытыми рыжими волосками, которые теперь стали видней, всё приветливей улыбаясь то ли ему, то ли огню:

– Я помню. Я не хотел обидеть тебя. Меня забавляет, как различно мы смотрим на вещи, мудрец и правитель. Не знаю, способен ли мудрец стать правителем, а правитель стать мудрецом. Иногда, в минуты печали, представляется мне, что я мог бы стать мудрецом. Во мне что-то есть. Но чаще я думаю, что не станет ни тот, ни другой. В этом мудрость природы, должно быть. Ибо подобное различие взглядов на вещи приятно и полезно уму. Нередко, выслушав твои мудрые возражения, я нахожу, что я согласен с тобой, а король должен поступить совершенно иначе. С тобой эта странность тоже случается?

Он оттаивал, остывал. Было приятно сидеть и огня и беседовать о посторонних предметах. Он задумчиво отвечал:

– Эразм полагает, что трудно советовать имеющим власть, ещё труднее рассчитывать, что имеющий власть последует советам философа, я же только считаю, что правда колет глаза и рождает врагов.

По лицу Генриха беспорядочно прыгали рыжие блики огня, искажая его, то увеличивая, то уменьшая, стальные глаза точно плавилась, исчезали совсем, так что невозможно было понять, что в действительности думал, переживал человек и король, а голос звучал и сердито и жалобно:

– Это странно, даже обидно, быть может, смешно. Я король. Я властен над всеми во всем государстве. В моих руках жизнь и смерть моих подданных. Нет никого в державе моей, кто был бы равен мне могуществом, даже богатством. И всё же меня не понимает, не любит никто.

Ему почуялось истинное страдание в этом беспокойном неровном рвущемся голосе. В его душе пробудилось сочувствие, и к человеку и к королю. Притворная сдержанность, которой он себя обучил, как должен быть сдержан философ, юрист и политик, растапливалась, уплывала куда-то. Готовясь распахнуться, раскрыться, обмякала душа. Но он её удержал. Он вздохнул, прикрывая участливость и понимание ровным тоном неторопливой задумчивости:

– Недаром же говорят, что трудно тому, кто по своей воле или по воле природы встал над людьми.

Генрих ещё долго смотрел в бушевавшее пламя камина, не отодвигаясь от сильного жара, весь покраснев, щуря стальные глаза, окаймленные теперь золотыми ресницами, сцепив покрасневшие пальцы дрожавших, словно бы, рук, и наконец прошептал, болезненно, страстно и громко, забыв про латынь:

– Или тупое сопротивление, или тупая покорность... За что же?... За какие грехи ты меня караешь, Господь?..

Он отодвинулся несколько в сторону от камина, скрываясь в тени, негромко смеясь, будто бы весело, будто бы всё это шутка была, но с болью в растроганном сердце, с жалостью к человеку и королю и за что-то к себе:

– По этой причине я и согласился быть твоим канцлером. Отчего ты этого не хочешь понять?

Генрих морщился и говорил так, точно сам с собой толковал, оставшись наедине:

– Ты-то умен. Покорности в тебе ни на грош. И сопротивление твоё не тупое, уж нет. Я это вижу, ведь я тебя знаю давно. Только не по-моему ты как-то умен. Какая фантазия: изрывать берега, утыкать новыми скалами море. Это же чепуха. Ты и понимаешь меня, а как будто не хочешь понять, как будто и помогаешь и не хочешь или не можешь помочь.

Он стал серьёзен и негромко признался, сознавая вину за собой:

– Если приходится помогать против совести, действительно помочь не могу. Тебе, я надеюсь, покой души тоже дороже всего.

Глаза Генриха оплывали и точно слепли всё больше от блеска и жара огня, белки краснели от прихлынувшей крови, ресницы точно сами пылали огнем, голос звенел сумрачно и высоко:

– А я и требую знать, что тебе говорит твоя совесть, как будто перед тобой не король. Ведь ты учитель был для меня, а потом мы стали друзья. Так рассуди, кто же мне скажет правду, если не ты?

Очень хотелось дружески утешить того, кто истинно страдал, давно страдал у него на глазах, но он опасался, что сострадание друга утешит друга, но может выглядеть в мнении короля согласием и поддержкой давнего плана, с которым, как философ, он согласиться не мог и который, как политик, права не имел поддержать. Он повторил осторожно и мягко:

– Ну, разумеется, как не понять, что тебе тяжело со старой, нелюбимой женой. Всякому, окажись он на твоём месте, было бы скверно.

Генрих медленно отвалился назад, опираясь на резные широкие ручки, вытягивая толстые ноги к огню, и, взглянув на него неопределенно мерцающим взглядом, чуть ли не радостно подхватил:

– Вот видишь, такие вещи ты все-таки способен понять!

Уже раскаиваясь, что дал волю своим добрым искренним чувствам, совсем не уместным в том некрасивом и запутанном деле, смысл которого он давно угадал и которое для своего разрешения требовало холодного, трезвого разума, а не разнеженных чувств, он склонил голову, укрывая глаза, чтобы не быть неправильно понятым, и неуверенно протянул, желая выиграть время:

– Как не понять? Такие вещи понимает каждый мужчина.

Генрих оживился, настойчиво повторил:

– Да, да, как это ужасно! Как мне тяжело! Так тяжело! Невыносимо, постыло мне всё! Просто нет слов, как мне тяжело!

Он неохотно кивнул головой:

– Это, разумеется, так.

Генрих торопливо, с надеждой спросил, неуклюже повернувшись к нему, нависая над ним, как медведь:

– И что из этого может последовать? Что из этого должно последовать, а?

Он долго молчал, разглядывая сначала толстые ноги, близко протянутые к огню, сверкающие пряжки на ремнях башмаков, когда на них падал свет, тускневшие, когда оказывались в густой, почти черной тени, скрывавшей их от веселого хищного пламени, потом вдруг посмотрел прямо в полуприкрытые стальные глаза короля, настороженно ждавшие, торопившие, ярко блестящие сквозь золотистую щетину ресниц, и видел колебание на дне затаившихся глаз, в этом беспокойном, придирчивом ожидании, точно вынуждавшем его согласиться.

Да, от него требовали разумно и справедливо решить судьбу неумолимо старевшего Гарри Тюдора, которого, согласно древнему закону природы, вдруг потянуло к молодым свежим женщинам, к страстным объятиям и к горячим безумным ночам, чтобы всё ещё ощущать себя сильным и молодым, а решалась судьба государства, судьба всего мира, судьба убеждений и вер. Из него искусно и терпеливо вымогали одно простое, короткое слово, но это слово было невозможным, немислимым именно с точки зрения рассудка и справедливости, а перечить королям бесполезно, даже если они философов называют своими друзьями. Если бы об одних молодых страстных женщинах была речь. У Генриха их было достаточно. Королева напрасно укоряла его, что он, а не она, не способен зачать. Генрих бесился и проверял свои мужские способности чуть не с каждой смазливой девчонкой, появившейся при дворе. И проверил. И теперь хотел жениться, чтобы у него был наследник короны, чтобы продолжить династию, ещё молодую, не успевшую укорениться ни на континенте, ни в Англии. Его интрижки никому не

вредят, разве только жене, а брак его поссорит со всеми, с подданными, с королями, с церковью прежде всего.

Вновь раздражаясь, сердясь на себя, отводя виновато глаза, потому что перед ним страдал человек и король, он приглушенно, нехотя бросил:

– У вас много умных советников на такие дела.

Генрих, тяжело заворочавшись в кресле, бросив, казалось, ненавидящий взгляд сквозь рыжую поросль ресниц, нетерпеливо напомнил ему:

– Если ты согласился быть канцлером, твой долг советовать мне, ибо, как ты не можешь не понимать, это дело важности государственной.

Что ж, ему куда больше подходил такой поворот этой затянувшейся, трудной беседы наедине, и он, вскинув голову, широко улыбнулся:

– Я никогда не стоил и не стою в особенности теперь вашей милости, которой обязан был только случаю.

Генрих умолк, потупив светлую голову, сцепив рыжеватые пальцы на большом животе, гневно стиснув их в один беспокойный кулак, закусив небольшие бескровные губы. Потом выдал из себя:

– Но я только прошу тебя исследовать беспристрастно, исследовать добросовестно и строго логично все наличные обстоятельства, и если самые обстоятельства, а не постулаты лицемерной морали, убедят тебя в разумности и справедливости этого необходимого дела твой глубоко и смело мыслящий ум, я был бы счастлив и рад видеть тебя в этом деле вместе со всеми прочими моими советниками и во главе их, это прежде всего.

Угадав, что на этот раз промолчать едва ли удастся, он безразличным тоном спросил:

– А если наличные обстоятельства убедят меня в обратном тому, чего желается вам?

Король переменился вдруг весь, встрепенулся, ощерился неприветливым маленьким ртом и торжественно-громко заверил его:

– А если наличные обстоятельства в обратном тебя убедят, я обещаю твоего мнения не использовать против тебя. Мое слово твердо, ты знаешь, и верь!

Он понимал, что Генрих честно и с убеждением давал свое королевское слово, но поверить этому слову не мог. Генрих не мог не быть королем, а он из истории и по личному опыту знал, как переменчиво королевское слово. Он всё же не медлил и откликнулся тотчас, в то же время размышляя о том, как непримиримо и сложно запутались обстоятельства, которым решился встать поперек:

– Я вам верю милорд.

Генрих выпрямился, раскинув руки по широким ручкам просторного кресла, которое едва вмещало его нездоровое тело, и в упор смотрел на него, высказываясь наконец откровенно:

– Итак, мой брак с испанской инфантой был противоестественный, исключительно политический брак. Ныне эта противоестественность мне омерзела, а политическая необходимость отпала, совершенно отпала с течением лет. Что ни говори, а рассудительная политика ограждает нас понадежней, чем твои подводные скалы, которые ты придумал, не спорю, остроумно и ловко. Наш союз с Францией уравнивает Испанию, которая занесла руку на весь континент. Таким образом, ни та, ни другая держава не сможет нам угрожать. Такой союз принесет нам прочную безопасность, а также немалую выгоду, что, как ты сам понимаешь, нам на пользу пойдет.

Подумав о том, что в таком случае опасность внешняя сменится опасностью внутренней, он с умышленной неторопливостью задал коварный вопрос:

– И вы женитесь на французской принцессе?

Дернувшись как от удара, сузив непримиримые, откровенно злые глаза, король слотнул тяжелый комок и мрачно предупредил:

– Ты со мной так не шути... Подобные шутки в свое время погубили кардинала Уолси... Тоже любил пошутить...

Овладел собой и твердо сказал:

– Довольно с нас чужеземных принцесс. Довольно своекорыстных династических браков, которые уже давно не дают нам никаких преимуществ. Своей новой женой я сделаю англичанку, даже если в её жилах не течет королевской крови ни капли. Мы – англичане, и останемся англичанами.

Он особенно любил и ценил в Генрихе эту своевольную дерзость, эту способность вдруг одним махом разрушить вековую традицию, но на этот раз в славной дерзости короля таилась угроза спокойствию и благосостоянию всего государства. Он издавна пытался направить эту дерзость, эту способность к неожиданным, непривычным решениям на благо страны, но король всё чаще не поддавался ему, капризно и властно поворачивая державу на скользкий путь недовольства сословий, от лорда до грузчика с берега Темзы, путь опасный, грозивший распрями, враждой кланов, наследников, целых провинций, и надежда на то, что он сумеет остановить, образумить, убедить Генриха, если не короля, опираясь на доводы разума, становилась всё слабее, всё меньше. Он с горечью обронил:

– Значит, Болейн.

Король вызывающе, жестко спросил:

– Так что же?

Он, уже справясь с собой, твердо выговорил то, в чем был убежден, открыто глядя прямо в глаза короля:

– Никакие причины не могут расторгнуть брак, освященный Всевышним, кроме смерти одного из супругов. Это закон.

Глаза короля сверкнули зловещим огнем:

– Что же ты мне посоветуешь сделать?

Он сказал:

– Свой крест нести до конца.

Король задумчиво протянул, без чувства, без смысла глядя на угасавший огонь:

– Ну что ж...

И вдруг властно махнул, не взглянув на него:

– Свободен. Можешь идти.

Он вышел обеспокоенный, с тревогой в душе.

Глава седьмая

Неудача

Генрих остался один. Ему предстояло заняться делами. На столе были приготовлены донесения послов и шпионов, бумаги, важные и неважные, которые он должен был просмотреть. Он взял одну, повернул её несколько к свету и поднял на уровень глаз. Это было письмо из Мадрида. Его посол сообщал придворные сплетни. Отношения с Испанией были накалены, грозили войной, да она уже и велась исподтишка в океане, а этот бездельник видел лишь то, чтобы было неинтересно ему, что у первого министра сменилась любовница и что министр финансов истощает казну. Он с досадой бросил письмо. Пора в отставку этого дурака. Надо подумать, кем его заменить. Трудный, почти неразрешимый вопрос. Слишком немного умных людей. К тому же с умными иметь дело едва ли не хлопотней, чем с дураками.

Главное, на душе у него было нехорошо. Воспоминания не оставляли, язвили его. От них было некуда деться. Ему необходимо было понять, что ждет его в будущем, а его память всякий раз тревожила прошлым. Прошлого не было, но от него невозможно было уйти.

Он поднялся, потянулся, расправив плечи, прошелся, тяжело ступая, по кабинету. Встал у окна. На лужайке, залитой солнцем, солдаты конвоя бились мечами. Бились лениво. Переговаривались. Над чем-то смеялись. Офицер стоял в стороне и молчал. Он мог бы подумать, что это неповиновение, даже измена, но знал хорошо, что они просто бездельники, что одни и те же упражнения изо дня в день перед вторым завтраком и после обеда им давным-давно надоели, несмотря на приказ. Надо было вызвать дежурного и приказать прикрикнуть на них, но ему не хотелось вызывать и приказывать.

Тогда он решил отомстить несносному Карлу. Фландрия была его самой богатой провинцией. Он задумал её разорить и закрыл английские порты. Ни один товар из Фландрии не мог проникнуть в Англию законным путем, а во Фландрию не мог попасть ни один английский товар. Ему представлялось, что это верное средство, что Фландрии будет нанесен громадный урон и что Карл запросит пощады. Вот когда он посмеется над ним.

Громадный урон нанесен был английской торговле. Заволновались финансисты и торговые люди. Пришли в смятение депутаты парламента. Таможенные сборы упали. Казна истощалась с такой быстротой, что сердце замирало от ужаса. В парламенте грозили приостановить акцизы и подати. Того гляди, не чертов Карл, а он сам мог бы быть разорен.

Он был растерян. Ведь он был король и не мог отступить, но он должен был отступить. Этого он себе позволить не мог. Слава Господу, представители нации не решились пойти на разрыв. Для переговоров они избрали Томаса Мора. Он не видел его несколько лет. Пришлось наводить справки, прежде чем встретиться с ним. Оказалось, что Томас сделался незаменимым советником мэра Лондона и шерифа по вопросам законодательства. Знания юриста, деловитость и добросовестность, ораторские способности и безупречность нравственной жизни сделали его популярным в самых широких кругах, прежде всего среди финансистов и торговых людей, чьи интересы он защищал. Его избрали в парламент, и его уважали за пылкий и непреклонный характер, за обширную образованность, человеколюбие и мудрость философа. Своими трудами он заработал солидное состояние, которое прибавил к наследству отца. У него был большой дом и большая семья.

Он увидел невысокого стройного человека в строгом костюме. Ему можно было дать не более двадцати пяти, хотя он был старше лет на десять или двенадцать. Он растерялся:

– Давно не виделись, Томас.

Мор поклонился:

– Очень давно.

Он не знал, с чего начать разговор:

– Говорят, ты стал миротворцем.

Мор нисколько не был смущен:

– Как вы стали воином.

Он неловко спросил:

– Чем ты теперь занимаешься?

Мор ответил спокойно и просто:

– Я адвокат.

Он оживился:

– И больше не занимаешься изящной словесностью?

Мор улыбнулся широкой доброй улыбкой:

– Времени мало, но все-таки занимаюсь.

Он удивился, что это всё ещё ему интересно:

– Чем же ты занимаешься нынче?

Мор помолчал, точно подумал, стоит ли об этом теперь говорить, и всё же сказал:

– Составляю историю Ричарда Третьего.

Он был удивлен:

– Убийцы.

Мор внимательно посмотрел на него и ответил уклончиво:

– Деспота.

Разговор оживился, точно он был ещё юношей, а Томас был учителем вместе с Колетом и Маунтджоом:

– Мне в назидание?

– Нет, в научение.

– Разве ты помнишь его?

– Мне было лет семь или восемь, когда его убили в сражении, но его помнил отец и много рассказывал мне.

– Но ведь этого мало для серьезного исторического труда. Разве так работали Плутарх и Светоний?

– Вы правы, милорд. Я читаю и сравниваю хроники Холиншеда, Грэфтона, Холла и Стау. Ещё помогает француз, Филипп де Коммин. Очень советую прочитать.

– Тоже нравоучение.

– Нет, научение.

– Что же, доставь мне его.

– Непременно, милорд.

Он освободился от робости, которую испытывал в юности и о которой давно позабыл. Он вновь почувствовал себя королем и уже громко, резко сказал:

– Впрочем, всё это потом, когда-нибудь на досуге. А теперь с чем пожаловал, Томас?

Мор выпрямился и твердо ответил:

– Парламент просит, милорд, снять ваш запрет. Многим грозит разорение. Это плохо для всех. Плохо и для вас, короля.

Он вспыхнул:

– Фландрия дает Карлу вчетверо больше доходов, чем ограбление заморских индейцев. Я её разорю и тем уничтожу его.

Мор остался спокойным и рассудительным:

– Прежде вы разорите Англию и себя.

– Боюсь, мне этого никогда не понять!

– Отчего ж. Этого нельзя не понять. В торговле с нами Фландрия не нуждается, а мы без торговли с Фландрией просто погибнем.

– Они торгуют с нами, мы торгуем с ними, а между тем Фландрия богата, тогда как Англия бедна? Как так?

– Вы правы, милорд. Торговля – источник богатства и процветания. Но мы вывозим только грубую шерсть наших овец и плохо обработанное сукно, тогда как с Фландрией торгует весь мир. Испанские корабли с серебром и золотом заморских индейцев направляются прямо в Антверпен. Из его гавани и в его гавань ежедневно выходят и входят сотни судов. В Антверпене заводят свои товарищества торговые люди из Португалии, Испании, Италии, Венеции, Австрии, даже Оттоманской империи. Каждый день по его улицам катится не менее двух тысяч повозок с товарами всех видов и самого высокого качества. В его мастерских заняты тысячи мастеровых. Между прочим, они дорабатывают наше сукно и получают сукно высшего качества, чего мы делать пока что не научились. Во Фландрии работают все. Работу и достойную плату за труд может найти даже пятилетний ребенок. Фландрия процветает, тем не менее тамошние граждане чуждаются роскоши. В большинстве своем это люди добропорядочные, трудолюбивые, набожные и скромные. Они любят учиться. Начальное образование распространяется даже между крестьянами. Благодаря благосостоянию и умению читать и писать граждане Фландрии пользуются довольно широкой свободой. Города, провинции, сословия, товарищества торговые и ремесленные имеют свои привилегии. Каждый налог вводится только после того, как его утвердят генеральные штаты, в которых имеют равное представительство дворяне, духовенство и города.

– Не может этого быть! Ты рисуешь мне рай на земле!

– Много может быть, очень многое из того, что представляется нам невозможным, а Фландрия вовсе не рай. И там, как и везде, довольно ошибок в управлении и делах. Города и сословия слишком держатся за свои привилегии. Это ведет к эгоизму. Эгоизм разделяет людей, разделяет страну.

– Слава Господу! Не то бы я испугался.

– Ну, нам не этого надо пугаться.

– Чего же?

– Во Фландрии трудятся все, оттого она и богата. В Англии почти половина жителей не знает труда, оттого Англия и бедна.

– Не может этого быть!

– Сами судите. Фландрия не имеет аристократов, тогда как у нас громадное количество лордов, и несмотря на войны, в которых многие из них перебиты, их не становится меньше. А ведь это трутни. Они сами не трудятся. Они живут чужими трудами. Они сдают в аренду поместья и чуть не до живого мяса стригут арендаторов, от чего арендаторы не станут богаче. И это бы ещё ничего. За счет арендатора живут сотни слуг и телохранителей лорда, и если лорд разоряется или уходит из жизни, эти сотни здоровых людей остаются без крова и пищи, а делать они ничего не умеют. Тогда они голодают, живут подаяннем или разбоем, отчего Англия не становится ни добропорядочней, ни богаче.

– Ты слишком впечатлителен. Их не так много, как ты говоришь.

– В самом деле, их меньше, чем нынешних и бывших солдат.

– Чем тебе не угодили солдаты? Ведь это лучшее, что у нас есть. Своей храбростью и умением они побеждают врага.

– Побеждают, но далеко не всегда, но всегда требуют громадных средств на свое содержание. Так они становятся бедствием для страны, что подтверждается опытом карфагенян, римлян, сирийцев, французов, вообще очень многих народов, может быть, кроме Фландрии, которая не держит солдат, а в минуту опасности граждане сами защищают себя.

– Фландрию защищают испанцы.

– Это верно, отчасти. Все-таки мне не представляется полезным для государства содержать толпу людей этого рода на случай войны, которой без нашего желания не может быть.

– Господи, ведь ты изучаешь историю! Всегда ли война или мир зависят от нас?

– Не всегда, но чаще всего. А нынче не война нам угрожает, а овцы.

– Какие овцы?

– Обыкновенные овцы. С виду кроткие, довольные очень немногим, они стали такими прожорливыми, что поедают людей, разоряют и опустошают поля и дома. В тех местах, где производится более тонкая, а потому более ценная шерсть, знатные лорды и даже некоторые аббаты, люди святые, не хотят ограничиться ежегодным доходом и теми процентами, которые обычно дают их имения. Они сгоняют людей с земли, ничего не оставляют для пашни, отводят всё, что можно, под пастбища, сносят дома, разрушают целые города и доходят иногда до того, что храмы превращают в свиные стойла. Вот главная язва отечества. Её лечить надо прежде всего.

– Лорды имеют на это законное право.

– В том-то и дело. Но десятки тысяч не имеют занятий, чтобы заработать хотя бы на хлеб.

– Полно, Мор, это бездельники. Как не найти им труда, было бы только желание.

– Вы запретили продавать Фландрии шерсть и сукно. Тысячи тюков шерсти и штук сукна остаются непроданными. Закрываются мастерские. Люди теряют работу. Пусть будут пастбища, но расширьте торговлю. Тюков шерсти и штук сукна будет продаваться всё больше. Откроются новые мастерские. Люди получают работу. В Англии не останется бездельников и бродяг. В своем процветании Англия сравняется с Фландрией. Может быть, даже обгонит её. Только об этом вас и просят в Сити, просят представители нации. За этим они и послали меня. Какой ответ им передать.

Он колебался. Бездельники и бродяги не занимали его: их переловят и вздернут на виселицы. Тюки шерсти и штуки сукна были непонятны, чужды ему, ведь он был король, а не пастух. Обстоятельства озадачивали его. Они изменялись с поразительной быстротой. Донесения из европейских столиц поступали одно за другим. Новый французский король жаждал захватить Милан и Неаполь и готовил новый итальянский поход. Казалось, его победа была обеспечена, когда он затеял мстить Карлу во Фландрии. Вдруг Франсуа вступил в союз с Венецией и обещал наваррскому королю отобрать у Испании южную половину Наварры. Против него тотчас был создан новый союз. В него вступили император, испанский король, тот самый Карл, и римский папа, которому очень хотелось создать из Пьяченцы и Пармы новое герцогство для своего брата. Они призвали на помощь швейцарцев. Швейцарцы заперли все альпийские перевалы. Неминуемое поражение угрожало французскому королю. А чем это могло обернуться для английского короля? Английский король имел право потребовать у победителей французскую корону себе, как достояние предков. Следовательно, ему было необходимо укреплять дружбу с папой и с Карлом, а не ссориться с ним. Запрет на торговлю надо было снимать.

Всего этого он не мог высказать Морю. Зачем? Ведь Мор осудит его. И он сделал вид, что доводы Мора убедили его, что он готов пойти навстречу торговым людям и представителям нации, и стал так отвечать, будто это размышление вслух:

– Ну что ж... Может быть... Во всяком случае, можно попробовать... Правда, королям в таких случаях нехорошо отступать, это может им повредить... Как же нам поступить?..

Понял или не понял Мор его хитрость, но спокойно сказал:

– По вашему повелению, милорд.

Он выпрямился и уже без колебаний ответил:

– Сделаем так. Я не повелеваю, я только прошу: это дело возьми на себя, поезжай во Фландрию частным лицом и проведи переговоры от имени парламента и торговых людей. Придумайте там, как выйти из этого неловкого положения. Затем представители нации, как именуюшь ты их, примут парламентский акт, а я его подпишу. Согласен?

Мор, был, конечно, согласен и немедленно выехал в Брюгге, а он с нетерпением ждал, когда союзники в пух и прах разобьют французского короля и принесут ему своей победой корону.

Однако французский король его удивил. Франсуа проложил дорогу в непроходимом ущелье, ворвался в Ломбардию и был в двух днях пути от Милана. Его армия остановилась на отдых у Мариньяно. Вокруг его лагеря простиралась болота. Между ними были всего три дороги через плотины. Тринадцатого сентября швейцары ударили с фронта и к вечеру отбили у французов несколько пушек. Рукопашная схватка продолжалась в ночной темноте. Утром нападение возобновилось по всем трем направлениям. Швейцарцы теснили французов на флангах. Положение становилось критическим, когда венецианцы подоспели на помощь и одним своим кличем «Марко! Марко!» обратили нападающих в бегство. Франсуа был в Милане и назначил его правителем коннетабля Бурбона, а герцога Сфорца отправил в ссылку во Францию. Папа Лев тотчас согласился на мир и вернул Милану отторгнутые Пьяченцу и Парму. Император возвратил Верону Венеции и согласился на брак своего внука с французской дофиной, за которой Франсуа в качестве приданого давал Неаполь, так и не завоеванный им. С такой блистательной победы не начинал ещё ни один французский король.

Он был поражен. С мечтой о французской короне и на этот раз распротиться. Переговоры Мора завершились удачно. С Фландрией возобновилась торговля. От мести Карлу ничего не осталось. Он не сразу нашел, что ему делать.

Парламент и Сити встретили Мора с благодарностью. Уважение к нему возрастало. Его авторитет становился непререкаемым и начинал догонять авторитет короля. Вскоре Мор выпустил книгу, которой дал странное имя «Утопия». В следующем году она была выпущена в Лувене. Он издал её на латыни, что означало, что его трактат предназначен для очень и очень немногих. В самом деле, книгу его почти никто не читал. Казалось, в парламенте и в Сити о ней даже не знали, поскольку в деловых кругах латинским языком никто не владел. Мор сам вручил ему свою книгу, а заодно и «Мемуары» француза Коммина. Он её внимательно прочитал. Он сразу увидел, что это не существующее нигде государство было фантастической смесью монастыря и процветающей Фландрии, о которой Мор ему так усердно повествовал. Всем там, конечно, трудились от зари до зари, не знали ни собственности, ни религиозной вражды и выбирали своих королей. Он рассердился и, случайно встретив Мора на улице, придержал коня, нахмурился и строго спросил:

– Эту «Утопию» ты сочинил в назидание мне?

Мор улыбнулся своей добродушной улыбкой:

– Нет, в наученье.

С того дня он долго его не встречал, а «Мемуары» француза ему полюбились. Француз был участником или очевидцем многих недавних событий, о которых он знал понаслышке. Он действительно учился у него многим тонкостям политики и войны и часто перечитывал его любопытную книгу. Все-таки опыт научал его вернее, чем книги и Мор, ибо, по уверению древних, опыт всегда поучителен, горький опыт – вдвойне. С завистливым вниманием изучал он статьи договора, заключенного французским королем с папой Львом. Права французского духовенства были нарушены. Оно теряло независимость в судебных делах и попадало в зависимость от короля. Отныне король, а не папа, раздавал бенефиции, а папа лишь утверждал их, не имея права отвергнуть. Право раздачи увеличивало доходы французского короля, но и папа не остался внакладе, он получал доходы с бенефиций, которые оставались вакантными, а они редко опускались трехсот тысяч флоринов. Распределение церковных доходов покончило с неограниченной властью Рима во Франции. Отныне французский король столько же зависел от римского папы, сколько римский папа зависел от французского короля.

Ему хотелось того же. Но как было добиться от папы таких же уступок? Принудить папу силой оружия, как сделал французский король, Англия не имела ни физической возможности, ни солдат. Оставалось отыскать обходные пути, но какие?

Обходные пути нашлись неожиданно. При его вступлении на престол Томас Уолси был только деканом собора в Линкольне. Он был из Норвича, сын мясника, сластолюбец и чревоугодник, чрезмерно чванливый и толстый. Долго обучавшийся богословию, он ещё в качестве принца часто вел беседы с прелатами и заметил, что линкольнского декана мало занимали эти вопросы. Томас Уолси был карьеристом, энергичным, беззастенчивым, властным. Его целью была сначала кардинальская шапка, затем тиара римского папы. Ради неё он готов был на всё и больше занимался политическими интригами, чем нуждами линкольнского прихода. Ему нравилась в декане эта бесцеремонность. Он покровительствовал Уолси, время от времени беседовал с ним и с удовольствием наблюдал, как тот находил покровительство при папском дворе и стремительно делал карьеру. Вскоре после того, как Уолси сделали архиепископом йоркским, они встретились и заговорили о двусмысленном положении церкви: с одной стороны, английское духовенство было подданными английского короля, а с другой стороны, оно находилось в полном подчинении римскому папе, ни в чем не зависело от английского короля и не подлежало его юрисдикции.

Уолси тогда согласился, что такое положение ненормально и даже порочно. Он поинтересовался, каким же может быть выход из ненормального положения. Уолси решительно отвечал, что всё зависит только от папы и будь его воля, он непременно что-нибудь изменил, надо только сделаться папой. Сделать это очень легко. Сначала надо сделаться кардиналом, чтобы стать членом Священной коллегии, избирающей пап. Папы часто сменяют друг друга. Кардиналы избирают того, кто больше заплатит. Так вот, Томас Уолси готов заплатить сто тысяч флоринов, такой суммы будет достаточно, и такая сумма у него уже есть. Откуда? Уолси улыбался жирной улыбкой. Доходы архиепископа довольно значительны. Главная загвоздка лишь в том, чтобы эти доходы собрать. Миряне скупы и жадны, не любят прелатов, в особенности монахов и пренебрегают нуждами церкви. А вот доходы архиепископства йоркского собираются полностью, даже с избытком. Уолси нашел человечка, который, кажется, умеет делать деньги из воздуха. Бывший солдат, сукнодел, ростовщик. Зовут Томасом Кромвелем. Три шкуры сдерет, а ни пенса никому не простит. Помощник прямо незаменимый. Рекомендую. И отрекомендовал крепыша с толстыми ногами, широкой грудью и наглым взглядом глубоко посаженных глаз.

Ослабить власть папы. Увеличить доходы. Иметь в Риме своего человека. Хотя бы в качестве кардинала. А лучше папы. Такие люди ему были нужны. По примеру отца, у которого канцлером был кардинал, он сделал Уолси канцлером, а к нему в помощники тотчас пристроился цепкий и тоже беззастенчивый Кромвель. Томас Уолси оказался изобретательным человеком и действовал по всем направлениям. В Риме ни в чем не могли ему отказать. Вскоре папа Лев возвел его в звание кардинала-легата с правом входит на территории Англии в любой монастырь и вводить там любые нововведения по своему усмотрению. Томас Уолси никаких нововведений там не вводил, не желая раздражать кардиналов Священной коллегии, зато наложил руку на доходы монастырей, и очень скоро его резиденции в Гемптон-Корте и Уайт-Холое заблестали великолепием, какого не было даже в королевском дворце.

Преобразования последовали не в церковных, а в светских делах. Томас Уолси преобразовал королевский совет и завел при нем комитеты, которые исполняли поручения короля. Членов совета назначал лично король. Король не любил высокомерных, несговорчивых лордов и набирал своих советников из новых людей, незнатных, но преданных ему без оглядки. Им он мог отдавать повеления, не считая нужным посоветоваться с парламентом. Парламенту это не нравилось, но Томас Уолси умел договориться и с депутатами, соблазняя большими доходами, которые получит английская церковь, когда его выберут папой. Никто не успел оглянуться, как

Томас Уолси объединил в своих руках церковную и светскую власть, одинаково бесцеремонно управляя монастырями, парламентом и королевским советом.

На самом деле через него король расширял и укреплял свою власть, оставаясь в тени. Он держал Уолси в руках. Назначение англичанина кардиналом-легатом было нарушением старинных статутов о посягательстве на верховную власть английского короля и палат. Он имел полное право в любой день и час отдать Уолси под суд. Уолси это было известно. Между ними возникло негласное соглашение: король не трогал его, а Уолси нигде и ни в чем не посягал на верховную власть и права короля. Человек оказался удобный, правда, чрезмерно тщеславный. Роскошь его костюма была непомерна и не подобала служителю церкви. Кардинала-легата всюду сопровождала пышная свита. Двое слуг носили перед ним сумку, в которой находилась государственная печать. Его дворцы вызывали всеобщую зависть. Его власть представлялась безмерной. Порой канцлер-кардинал его забавлял. Нельзя было без смеха глядеть, как неторопливо и важно, выставив тяжелый живот, Томас Уолси шествовал в толпе прелатов и слуг, задерживался перед каждым придворным, имевшим влияние, пространно излагал дело, которым был занят, или выслушивал просьбы и объявлял, сделав значительный вид:

– Его величество сделает это.

С полгода спустя задерживался лишь на минуту, объяснял в двух словах, нетерпеливо выслушивал и обещал:

– Мы сделаем это.

А уж потом не задерживался, выслушивал на ходу и сквозь зубы ронял:

– Я сделаю это.

Он посмеивался над человеком, который был нужен ему, и ждал, когда придет его час. Его час пришел очень скоро. Господь взял германского императора. Открылась вакансия. Европа взволновалась и забурлила. Курфюрсты должны были выбрать на своем съезде нового императора. Претендентов набиралось больше десятка. Главным был французский король. Франсуа обещал крестовый поход против турок, угрожавших Венеции, Вене и Венгрии, и три миллиона флоринов курфюрстам, которые подадут за него свои голоса. Крестовый поход вдохновлял, но не очень. Многие государи, владения которых были для турок недосыгаемы, полагали, что Венеция, Вена и Венгрия должны сами себя защитить. Зато флорины производили неотразимое действие, и Франсуа рассыпал их десятками и сотнями тысяч. Его соперником выступил Карл, тоже обещал крестовый поход, о сумме флоринов молчал, но тоже рассыпал их десятками и сотнями тысяч.

Немецкие государи млели от счастья, но были растеряны. Блеск флоринов их соблазнял, но они колебались, решая, чью предпочесть и на чью потом сторону встать. Немалое число их брало флорины и у той, и у другой стороны. Самые мудрые брали так по нескольку раз. Насытить эту прорву оказалось делом нелегким. У Франсуа и у Карла истощались флорины. Фуггеры выдавали кредиты. Эти богатейшие финансисты и ростовщики не колебались. Сначала они давали большие кредиты французскому королю, считая его более сильным и удачливым из претендентов. Потом отказали ему и перешли на сторону Карла, когда подсчитали, что Карл победит. Все ждали, как поведет себя английский король, не самый сильный, не самый богатый, но симпатичный, во-первых, потому, что был самым образованным государем Европы, а во-вторых, потому, что жил далеко, за проливом, на острове, а стало быть, станет редко появляться в Священной Римской империи и досаждать своим новым подданным.

Он верно оценил свои слабости и преимущества и ввязался в борьбу. Он в самом деле был самым бедным из них и не мог сыпать флорины десятками и сотнями тысяч. Потратиться и ему, конечно, пришлось, но главным образом он рассчитывал на римского папу. Пришла очередь канцлера-кардинала. Томас Уолси плел интриги при папском дворе. Казалось, обстоятельства благоприятствовали ему.

После битвы при Мариньяно воинственный пыл оставил папу Льва. Папа пошел победителю на большие уступки, продал двадцать кардинальских шапок, окружив себя надежными людьми и наполнив казну, и наслаждался покоем. Потомок Медичи покровительствовал художникам, рыбачил, охотился, с удовольствием смотрел комедии Макиавелли и Плавта, которые ставились для него, или развлекался иными забавами, вроде зрелища жирных монахов, которых ему на потеху молодые прелаты с хохотом подбрасывали на одеяле. Дрязги с выборами досаждали святому отцу. Он колебался, не зная, кого предпочесть, и колебания утомляли его. Приходилось рассчитывать, размышлять, когда рыба клевала или олень выскакивал под выстрел его арбалета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.